

**В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА
ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ**

Виктор

Некрасов

**В ОКОПАХ
СТАЛИНГРАДА**

•
Юрий

Бондарев

**ПОСЛЕДНИЕ
ЗАЛПЫ**

•

БИБЛИОТЕКА «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОГО РОМАНА»

ВИКТОР НЕКРАСОВ

**В ОКОПАХ
СТАЛИНГРАДА**



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА ● 1968

**P2
H:48**

Послесловие И. ВИНОГРАДОВА

Художник И. БРОННИКОВ

ВИКТОР НЕКРАСОВ

**В ОКОПАХ
СТАЛИНГРАДА**

ПОВЕСТЬ

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастеровившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у

вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их скрыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себе кличуть, — сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас, і начхіма. Щоб через пять минут були, сказав.

Нет, значит, неверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А біс його знае. — Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. — Хіба зрозуміеш... Всіх связних розігна-ли. Капітан якраз спати лягли, а тут офіцер связі...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР — презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с таки-

ми вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага... — криво улыбается Гоглидзе, разведчик. — Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

— На Валуйки прут, сволочи. — Самусев в сердцах сплевывает. — Шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки, — заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — «говорят»?

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырою, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого нет налицо. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, — копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в заливчатски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать. — Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпу-

скает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак... — Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. — Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал все! — круто поворачивается в его сторону Максимов. — По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы зайдите. — Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съезживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел, — говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. — Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать. — Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. — Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь да мы будем. Не в Ново-Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев, — он строго глядит на меня, — до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами проваливалась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается.

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало, — там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего. Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да... Идите, — скороговоркой говорит он, — идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади, — батальонные, по-видимому, Ширяев ухмыляется:

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите, — говорит Максимов, протягивая руку. — Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же... — И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы уславливаемся -- я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.

Бот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась

«рама» — двухфюзеляжный рекогносцировщик «Фокке-вульф», и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову — приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там, на севере, — ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покинуть насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем?

Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

— Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машинны не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два «максима» и три «дегтярева». Особенно не разгуляешься. Ставим «максимы» на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому: фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!..

Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, — по-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятками у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми, испуганными глазами, забирается в ящик с котятками. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.

Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромаждали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще

в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь, и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столбик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки — чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем: «Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени, — хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботинках. А справа — марка: станция метро «Маяковская».

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зерро»... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подалее, около Прорезной, в тесном, с нумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в «Экспрессе» — потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой

Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные «линкольны» у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасуныко с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше — Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ошетилившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, готвальни купили, и...

Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Ана-

толий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и раkit очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто-то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии «хейнкелей» и одна «юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молодой лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа—третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что

собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить. — И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, оцетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками, — все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим

мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прoshлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритвы — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немислимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно высланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстаётся с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной поход-

кой охотника. Я знаю — будет привал, и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валёга. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшеничный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война, — сказал он, — я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся:

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу. — Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. — Он вынул

и облизал ложку. — И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбается.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки — с белой, черной и защитного цвета нитками.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные ташат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А увечері пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину постояли і далі подались. Такі заморені, невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще

эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкуются у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться, что ли?

Сощурился, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят — семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть-то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

— Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как не хватает?

— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

— Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потерли? А?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета. — Он хлопает себя по кобуре. — Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... — Он ругается и встает. — Подымайте людей.

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота, — все это резкими, короткими движениями, — ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стоят женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шагком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по-моему, комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

— Дела дерьмовые, — коротко говорит он, — полк накрылся...

Мы молчим.

— Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон сейчас неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка... Тоже ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

— А Афонька что, убит?

— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

— И медсанбат?

— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою сигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли. — Игорь скребет затылок мундштуком. — Максимов сам принял решение. По-видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти-двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— И куда движутся?

— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...

— Максимов куда приказал?

— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту. — На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы поднимаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зер-

на. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился, — танки. Штук десять-двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал.

Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, — видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять подымаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь, мелкий, противный.

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие фрицы?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов, — должно быть, разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по-видимому, спал, — одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу, — вполголоса говорит Ширяев. — Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-

то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами, — немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках, — должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, — видно, устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. С сигаркой все-таки веселее. — Ширяев скручивает толстенную, как палец, сигарку. — Интересно, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игора мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет, высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас.

— Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета, — этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило... — Он с трудом переводит дыхание. — Осколком повредило пулемет... По-моему... — Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что — «по-моему»? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... этого самого... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать...

Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не... не считал.

— Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда... — Ширяев жует губами. — Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых. Где Седых?

— Вон на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю, — тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.

Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним — точно спутал кто-то — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом... — И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь... — и запинается.

— Ничего, я знаю, — говорит Игорь. — Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно... — Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орёл? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется, — ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно, — тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам. — Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно. — Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где «максим», лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь, — говорит Ширяев Игорю. — Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью бойцами. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает.

— Його газами ще в ту війну отруїли. І, взагалі, він не німець, він австріяк, і фамілія в нього не Гітлер, а складна якась — на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

— Тиролец... — задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. — А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

— Правда.

— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор.

Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.

— Ты давно уже воюешь, Седых?

— Давно-о... С сорок первого... с сентября...

— А сколько же тебе лет?

Он задумывается и морщит лоб.

— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.

— Ну и что же, нравится тебе воевать?

Он смущенно улыбается, пожимает плечами.

— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно. Даже Валега и тот улыбается.

— А домой не хочешь? Не соскучился?

— Чего? Хочу... Только не сейчас.

— А когда ж?

— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.

Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.

— Что такое?

— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

— Сейчас из минометов начнет шпарить, — вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезает в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.

Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.

-- Капут, кажется... — Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

— Я... товарищ лейт... — Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.

Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы все обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.

— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразита!.. Но... Холера...

И эти «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтобы набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразитова... Н-но... Щоб тебе!

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чертовой матери!

— Я те сброшу, — поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу... Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машину. — Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырko. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырko не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев — инженер.

— Елки-палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину, — говорит Копырko, подходя, — подвезу.

— А ты куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырko устало улыбается. — Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг. Миллерово, что-ли... Ну, давай на машину!

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?

— Свицерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот «форд». Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слышал, что майора и комиссара убило?

— Слышал. А Максимова?

— Не знаю, я с тылами был.

Копырko круто тормозит. Впереди затор.

— Вот так все время... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

— А немцы?

— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос. — Он проводит рукой по глазам. — Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол — на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена — «форды», «газики», «зисы», крытые громадные «студебеккеры». Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.

И все это с криком, гиком, щелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной, — раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну... — говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

— Что — «ну»?

- Дальше что?
- Идти, по-видимому.
- Куда?

Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:

- Своих искать.
- Кого своих — Ширяева, Максимова?
- Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линейчку — усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал. Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекачивается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочке блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно

случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушечками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-3-54-26. Это не наши. У нас — Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите, — и смеются.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавливая в землю окурок.

— Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

— Эй вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.

— Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. — Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть. — Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. — Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. — А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевого едет, пять подвод.

— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз. — Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был. Хороший, с португеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, «московская». — И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба. — Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А он где, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо — не лезет. — Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла, пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает, — он

это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята, — вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим, — но это под большим секретом, — он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удается рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. — Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — «мы еще можем пригодиться родине». Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский со-

скакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный «додж» преградил нам дорогу.

Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.

9

Общий поток несколько редет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие, выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь, только чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама», сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так какая-то нудная тягомотина.

Майор-связист — мы ему помогаем «виллис» из канавы вытащить — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

— А вообще, добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете... — И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем.

Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступить, но отступление — еще не поражение, — отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас — то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть, — вера.

* * *

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький, желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздущиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых ца-

рапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Ва-
легин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит меж-
ду воронок и разбитых повозок. Подумать только —
ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые сте-
пи. Сегодня, как вчера: завтра, как сегодня. Солнце и
пыль — больше ничего. Одурающая, разжижающая моз-
ги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо
одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых,
скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими
планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически.
Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на
фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречающих. Два
лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фураж-
ках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала
ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в
бой. — И оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не
подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все.
Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

— А Ростов?

— Ростов нет. Не писали еще.

— Не писали?

— Нет, не писали.

Лейтенанты мнутя. Один из них спрашивает, не-
брежно, как бы мимоходом:

— Ну, а как там, на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, обор-
ванных и запыленных, на повозки с вихляющимися ко-
лесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто услышав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре. — Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей-богу, ребята... До точки уже дошли.

— Да что мы... — мнутса лейтенанты, — мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите, — кричат вдогонку лейтенанты, — он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам, — так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким-то рокочущим басом. — Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да... — Он опять берется за ложку.

— Ну, а все-таки, товарищ майор...

— Что все-таки? — Он повышает голос. — Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш! — И уже более

мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой... — Он чешет мизинцем переносицу. — Кто-то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слышал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из Тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовскую.

Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...

А в общем... Едем в Сталинград...

10

Сталинград встречает вылезавшим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых «студебеккеров». На них длинные, похожие на гробы ящики, «катюшины» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настоженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвай-

ном столбе кто-то очень проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим — голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижневолгокоопромсбыта», «Заливка калош», «Починка примусов», «Прокурор Ленинского района».

Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. «Золото она, а не женщина, — сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и окнами, заклеенными крест-накрест бумажными полосками. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.

— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает.

Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой.

После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на авто-

складе, что гуся прислал ей брат, — он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня стирает, ей это ничего не стоит.

Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.

К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, — «ведь это просто безобразие, сами посудите», — и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.

После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линейкой меряет расстояние от Калача, Котельникова до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, — получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям, — эти газеты неприкосновенны.

Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.

Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крыльчке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золо-

тые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платье-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.

— Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще... Неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, — и протягивает баночку.

Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме, — это еще до института было, — и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

— Зайдите к нам, мама чай приготовит.

— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами — такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. На стене бёклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатою спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Бёклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты

на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола, — нет, позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец на сытой буланой лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:

— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет...

И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:

— Самоварчик бы еще да вареньица...

И все опять засмеялись.

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы неделки через две запоете...»

Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.

Люся встает из-за рояля.

— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой, хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем,

куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.

Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.

— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, — и опять вздыхает. — Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

— Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады.

Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь всрочается с боку на бок.

— Ты не спишь, Юрка?

— Нет.

— О чем ты думаешь?

— Да так... Ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

— У тебя есть курево?

— В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает сигарку.

— Надоело все это, Юрка.

— Что все?

— Да болтание это. Как цветок в проруби...

— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака.

— Тоже счастье — отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк — еще лучше.

— Не пойду в запасный полк.

— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

— Ну и пускай посылают. Все равно не поеду.

Несколько минут мы молчим. Игорь мигает сигаркой.

— А с ребятами что делать будем?

— С какими? С Валегой и Седых?

— Их ведь надо на пересыльный отправлять.

— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьют кого-нибудь.

Игорь смеется.

— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссрились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол, — это ты — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

— Ну, что ж, настоящий, значит, ординарец, — говорю я и переворачиваюсь на другой бок. — Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит сигарку о землю.

Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное — не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?

Привык я к тебе, лопухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересуется. А Валега вытащит. Это я знаю... Или Сер-

гей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, а спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

— Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? — Он сует свою теплую, влажную руку.

— Туда, откуда ты.

— Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

— Есть.

— Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вот скамеечка симпатичная.

Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.

— Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик — и ваших нет.

— Ну?

— Вас это устраивает? — подбритые брови его удивленно приподымаются. — На передовой знаете что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Понимаете? «Мессера» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

— А резерв? Пшеничная каша, хлеб как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы, ручной пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.

— Теперь дальше... — Он слегка наклоняется и говорит загадочным полупшепотом: — Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на «ты». Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет, поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

— Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...

И, поправив фуражку, он скрывается за углом.

Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант, в начищенных сапогах, сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате, с одиннадцати до пяти.

Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

— К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.

На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет — и «приходите завтра к десяти».

На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой — «Майору Забавникову, зачислить в резерв» — шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит — маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять — кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

* * *

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленой, точно сегодня троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.

Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облакачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, — кажется, о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко... Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...

А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и после послезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что, когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...

Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он

сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите, стоит подбитый «хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.

— Весь бронированный, сволочь...

— Да, металла не жалеют.

— Вот и суйся к ним с фанерой.

— А сколько у него пулеметов?

— Два. И две пушки.

— И бомбы?

— И бомб две тонны.

— Две тонны?

Люся тянет меня за рукав.

— Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

— Куда?

— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово.

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.

Но вид отсюда действительно замечательный.

Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. «Красный Октябрь», «Баррикады» и совсем дале-

ко на горизонте корпуса Тракторного. Там свои поселки — белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим Волга — спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем.

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд вниз. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом, — должно быть, танки. Короткотрубный, точно надувшийся, паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.

— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.

— Юра... Как вы можете?

— А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.

— Неужели вам не надоело все это?

— Что «это»?

— Война, пулеметы...

— Смертельно надоело.

— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...

— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгоды и полезности. Одна зубная врачиха рассказывала мне, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.

— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культах, трепанациях и прочих ужасах.

— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.

— Второй уже месяц.

— А я второй уж год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять.

Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых, — длинные и загибающиеся кверху.

— А какой вы до войны были, Юра?

Ну что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.

Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.

— Красиво, правда? — говорит Люся.

— Красиво, — говорю я.

— Вы любите так сидеть и смотреть?

— Люблю.

— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?

— Сидели и смотрели.

— У вас там жена, в Киеве?

— Нет. Я не женат.

— А с кем же вы сидели?

— С Люсей сидел.

— С Люсей? Смотрите, как смешно, — тоже Люся.

— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.

— А где она сейчас?

— Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.

— А у вас есть ее карточка?

— Есть.

— Можно посмотреть?

Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.

— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?

— Нет, не замечал.

— А вы любите ее? Или только так?

— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скупаю.

— Очень?

— Пожалуй, очень.

— Почему пожалуй?

— Ну, просто — очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег уши ее, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку — на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.

Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко — тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.

На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник,

четвертая мельница и хлебозавод. Игорю — пивзавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник.

Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро, располагается на стульях. Валера и Седых — в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутя директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять — одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили. Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. На мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.

В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы, — говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают «юнкеры», роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывча-

тое — «северо-восточнее Котельникова», «излучина Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слышала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками — «танки... авиация... что поделаешь...»

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск — «погостить к сестре».

А в оперетте — «Сильва», «Марица», «Роз-Мари». В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек стакан, — пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария, на старой соломе.

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в «фашистов» и в «наших». Девочки играют в классы, прыгая на одной ножке.

У Дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакуогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы — раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десятков кило — все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту.

Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь «до востребования».

В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.

Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.

На заводы сегодня не пойду, — схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдергиваю с Игоря шинель.

— Вставай! Идем на Волгу купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

— Сегодня утром сбили одного. — Он ставит сковородку на кирпич. — Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крепиться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

— В городе много зениток, — говорит Шапиро и слезает со своих стульев, — батарей двадцать пять будет.

Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

— Почему?

— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день — я беру невероятный минимум, — то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

— Ты купаться пойдешь? — перебивает Игорь.

— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за этот месяц. И на самом неудобном месте.

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок — байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, бело-снежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.

Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, непохожего на другие, завода.

Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так, на животе, и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт, и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу, — мы, и бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверх-

ности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.

— Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуха. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо.

Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается, запыхавшись.

— Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то. — Он весь блестит и переливается от нефти. — Идем-ка лучше в библиотеку.

Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина.

В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстук. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Дорэ к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка — ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Мы сидим до тех пор, пока библиотекарьша не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают.

— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.

Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:

— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.

Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.

— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем... — Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.

— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...

Что за черт!

Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.

Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через кры-

ло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянато чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валеги — остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.

Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.

Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что угодно, только скорей.

Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом — везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние

лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.

— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито-фиолетовый.

— Ну ее.... — машет рукой, — не лезет в глотку... — и выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона:

— А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, переключаются, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи боже... Пресвятая богородица...

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбро-

санные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.

— Идите домой... ждите.

Мы идем домой. Люди всё бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

14

Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.

— На Тракторный? Зачем?

— Не знаю. Приказано.

— Кто приказал?

— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

— А что там делать?

— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

— И больше ничего?

— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.

— А так что слышно?

Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..

Седых отзывает меня в сторону.

— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

— Я те схожу!

— Водка, говорят, есть.

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

— Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

— Опять летят...

Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.

— Надо в подвал идти, — дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.

— Вы Самойленко? — Голос хриплый, задыхающийся.

— Я...

— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.

Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.

— Давай на машину... Слыхал?

Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, обворачиваясь на город, — полуголые, в шубах, закопченные.

Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.

— Вы к кому?

— К вам. Саперы.

— Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.

Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.

— Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага, — он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. — Метров пятьдесят — не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабо-

чие. — Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет. — Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль-ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым, — вы его там найдете, — в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.

Он задумывается, прикусив губу.

— Ну ладно.

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает.

— Керженцев — ТЭЦ. Свидерский — литейный. Самойленко — сборочный цех и т. д. — Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. — Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навывкате, иронические и умные. В углу рта окуроч. Руки в карманах.

— Помощники, да? — улыбается углом рта.

— Да. Помощники.

— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше — было б лучше. А сейчас... — он зеваает и сплевывает окуроч, — основное уже сделано. Омметра нет?

— Нет. А что?

— Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня, — навряд ли выйдет. Что, бомбит город?

— Бомбит. А почему не выйдет?

— Почему? — Большов лениво улыбается. — Взрывчатка дерьмовая. Тола кот наплакал. Остальное аммонит. Отсыревший, в грудках. Ну и капсюли не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...

— А детонирующего шнура? — спрашивает Игорь.

— Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.

— Сегодня?

— Говорят. Если не отгонят, то сегодня.

Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровенький прямоугольничек.

— Махорка есть?

Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

— Где немцы?

— А вон за цехами. Там овраг. Мечётка или Нечётка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

— А где наши объекты?

— А у вас что?

— ТЭЦ, — отвечаю я.

— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.

— Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

— Вас что, лейтенант прислал?

— Да. Большов.

— Принимать будете?

— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

— Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется...

— А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

— Ну что ж, пошли... — Ищет в кармане махорку. — Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, всё рвутся.

— И много?

— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

— Сеть готова?

— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов на таскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть,

но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.

— А где подрывная станция?

Сержант машет в сторону окна.

— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.

Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длинная, километра два. Сделана аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.

— По окраине бьет, — говорит сержант. — Из рогных всё бьет. Чепуха. В щель пойдете?

— А где телефон?

— В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой — инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.

— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я. Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.

— У нас мостик Уитстона есть.

— Что же вы молчите?

— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.

— Надо послать, значит.

— Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот всё едут.

У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить, — по-видимому, ему лет тридцать.

— Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.

Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.

— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?

— Действовать, — отвечаю я.

— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?

Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.

— По-моему, так.

— А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет, — он рукой быстро проводит по горлу. — Вообще, ни плана, ни организации.

— Георгий Акимович, — перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую-то проволочку.

— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки маломальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тар-рарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще... — Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу. — Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил — идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров бояться. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.

Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает.

— Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе.

Игорь тоже встает.

— Ко мне в литейный не ходим? А? Посмотришь. Мы идем в литейный.

— Как тебе этот тип? — спрашивает Игорь.

— Как сказать, не завидую его жене. Чахотка, плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.

— А меня раздражает.

— Ты неврастеником стал, ей-богу, — все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?

— Не люблю ворчунов, что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что, того и гляди, полные штаны будут.

— Поживем -- увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсюлях натренировать. Чтобы как часы втыкали и не боялись.

Седых улыбается.

— А чего там бояться. Я таких вот сазанов толком глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу — двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.

У входа в литейный группа рабочих окружила здорового парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна.

— До института, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р из автоматов... А у нас — винтовки. Только ко входу подходим, а они из окон тр-р-р, тр-р-р... Хорошо КВ подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.

Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

— Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода — от дерева к дереву.

— А много их, фрицев-то? — спрашивает кто-то из толпы.

— На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.

— А ты что, считал?

— Считал... — Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую. — Пойди посчитай. Там только арифметикой и заниматься, — машет он здоровой рукой. — Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.

На обратном пути опять встречаем раненых — старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут. Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем, ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И, совсем по-молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.

— Видите, как стрелка роскошно прыгает. Не мостик — сказка. Другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?

— Хоть пруд пруди, — отвечает Ведерников, — сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку — подбор капсюлей с одинаковым сопротивлением — и заменяем капсюли на зарядах, как начинается обстрел. Длится около часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.

Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней, — другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаз с Уитстона, но все проходит благополучно — порывов нет.

Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем — быть готовым к ночи.

Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

— Помните, что после предварительной команды — более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев — за взрыв.

— Ясно. А очередность?

— Никакой очередности. И первая и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.

— Ясно.

— Все ясно?

— Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь, черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам — восьмидесяти мешкам с аммонитом по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может, и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает брюки, Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб — проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних капсулей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.

— Ну, а вообще как, спокойно?

— Спокойно. А у вас?

— Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.

В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.

Слава тебе, господи...

Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.

Напрасно мы свои шинели у Гольдштаба оставили.

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка — и в пять часов можно спать.

Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.

Приказа все нет.

От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходимое облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.

Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.

В нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, непрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью, и Гольдштаб звонит: «Будьте готовы», — а утром все успокаивается, и мы ложимся спать.

Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых приволакивает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство», или «генерал от инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться,

отчаянно фыркая, брызгаясь на версту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему — принеси немного дров, — тащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-тетты.

Любознательен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет «катуши», и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают.

Вечером однажды идет разговор о героях и наградах. Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колено, — его любимая поза.

— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он.

Все смеются.

— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше.

Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурок.

— Тогда всё, — тихо говорит он.

— Что «всё»?

— Будет у меня орден.

И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся. Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую шелочку, и я верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

— У старшего лейтенанта Свицерского нет ординарца — иди к нему, — угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать», — и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную

кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не видим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого, хватается письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипятится, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

— Куда нам с немцами воевать, — говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. — Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыскивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким, сухим смешком. Игорь начинает злиться.

— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и раз-

валилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта:

— Никакой.

— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению, — разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как, по-вашему?

— Подождите... Будет и у нас много танков.

— Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем?

Игорь вскакивает как ужаленный.

— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. — Игорь подсаживается. — Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да

и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

— В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали...

— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны кроме них были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем, видите, что делается...

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «Ю-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

— Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десятков окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

— Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут.

И уходит.

Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать.

Не может быть...

Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый, и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдюймовка — это все. И выкрутились все-таки. И Днепрогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.

Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?..

Недавно ночью шли мимо солдаты... Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились уже на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали огоньками сигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.

— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет — с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы, то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению!» Все зашевелились,

загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть.

А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало.

А вот вчера на моих глазах около него разорвался сваряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.

— Вы понимаете; — говорил он мне потом, — с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди

с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть — американский, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, — вам просто жалко завод — и все. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца тому назад — в июле.

Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят, — значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

17

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлюлоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида, бутылках грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.

— Ну, что ж, будем прощаться, — говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой. — Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ.

— А нам куда?

— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» И я скажу: «Вы».

Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой разошедшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.

Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольничек с косою веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них, — она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее, — сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживает.

— Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья... Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.

Оказывается, только что перед нами — «вы не встре-

тились?»—был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете еще поймать дивизию на этой стороне.

Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким, женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

— Кто из вас Керженцев?

— Я.

— Вам отдельно. В Сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете. — Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.

— Постарайтесь увидеть дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.

Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62-й армии.

— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

— А в Сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь. — Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

— Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего, — и, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в Сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из Шестьдесят второй представитель придет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь.

— Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

— Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

— Обязательно, — нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший — двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар, таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман, — в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.

Мы молча доходим до регулировщика.

— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так всё машины, — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами.

Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную, длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая — спокойная и неподвижная над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает.

Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо.

— Дорога в рай, — мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал.

Подходит регулировщик:

— Во-он журавли полетели, — и тычет грязным, козявым пальцем в небо. — Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым, в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.

— Совсем как «юнкерсы», — говорит регулировщик и сплевывает, — даже смотреть противно.

Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся.

— Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

— Туда.

Он качает головой и делает несколько затяжек:

— Да... Невесело там, что и говорить... — и отходит.

Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает — нет ли напитаться. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

— Ну, а как там, на передовой?

— Паршиво, — равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.

— Здорово жмет?

— Куда там, головы не подынешь.

Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.

— Народу мало... Вот что погано...

— А в городе кто? Они или мы?

— А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать — не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается.

— Говорят, Сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.

Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.

— Ну, что ж, я пойду, — говорит Игорь.

— Ну, что ж, иди, — отвечаю я и протягиваю руку.

Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.

— Я не прощаюсь, — говорит Игорь.

— Я тоже.

Мы трясем друг другу руки.

— Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

— Обязательно... Как же.

— Ну, я пошел.

— Всего, Игорек.

— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

— Разве?

— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали. — Он шарит по карманам. — Вот он, за подкладку завалился.

Игорь протягивает нож — Валегин трофей, золингеновский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

— Ну, теперь все. Будь здоров.

— Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно-ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего — ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть, и все нет.

Грузятся сразу две дивизии — 184-я и еще какая-то, 29-я, кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.

Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.

Кто-то дергает меня за рукав.

— Слушай, друг, фонарика нет?

— Есть.

— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...

Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.

— Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.

Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло — батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту.

— Вот иди разбери, — тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. — Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! — и он длинно и заковыристо ругается. — Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в

городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.

Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.

— Не у вас сегодня инженера убило?

— У нас. Цыгейкина. А что?

— Я на его место прислан.

— Ну!.. — крупнолицый капитан даже удивился. — Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит.

Мы вылезаем из-под лодки.

— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», — мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя — могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися

волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.

Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она не плохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.

На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины — восемь штук, — когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга, в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.

Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.

— Успел. А ты?

— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается.

Приходит комбат. Тяжело дышит.

— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. — Он громко сморкается. — Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом Двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.

Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.

— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...

Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу; а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, — к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.

— Хорошо, — говорю я, — дашь мне две роты и петеэровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по сколько человек в роте?

— Человек по сто.

— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.

— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.

И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.

Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.

Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках.

Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.

Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходим. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организовано. Даже комбата моего не слышно.

Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного, за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.

— Большой он все-таки, — говорит кто-то за моей спиной, — как Москва.

— Не большой, а длинный, — поправляет чей-то мальчишеский голос, — пятьдесят километров в длину. Я был до войны.

— Пятьдесят?

— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного. Ого!

— Что «ого»?

— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.

— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.

Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.

— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.

Мальчишеский голос смеется:

— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус буль-буль, — и опять смеется.

— Фрицу многое чего хочется, — вступает кто-то третий, по-видимому, пожилой, судя по голосу, — а нам никак уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...

Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.

— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по-мо-

рячки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?

И все смеются.

Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.

19

Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.

На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.

Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.

Комбат — оказывается, его фамилия Клищенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:

— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова...

Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клищенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.

— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами... Свяznego только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты. — И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся, — сует мне в руку фляжку. — На, подкрепись на дорогу.

Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.

Командиры собирают людей. Один долговязый, суту-

лый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов — «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.

Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.

Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.

Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе.

— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.

— Недалеко... Ближе, чем до дому...

Проходим мимо белой постройки, должно быть водскачки; от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.

— Куда? — спрашиваю.

Никто не отвечает.

— Куда пушку тащите?

— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.

Я вынимаю пистолет.

— Поворачивай назад...

— Куда?

Кто-то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.

— Видали мы таких... Герой! Не обращай внимания, Кацура! Тащи!

Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.

Пули ударяют уже по самому берегу.

На верху дороги, — отсюда виден только задраный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, — появляются несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.

Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.

Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое, прыгающее передо мною лицо.

— Назад!.. — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.

Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из-под колес.

Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный, — стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.

Немцы, по-видимому, сидят в баках, — красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.

Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два, и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева — прямо на баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.

Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.

Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сараи, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.

Пора... Я закладываю пальцы в рот, — свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.

Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и

я вижу только ленточки. Они страшно длинные, — вероятно, до пояса.

Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а-а-а-а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.

Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.

За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.

Немцев больше не видно.

Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше... Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.

Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.

— Перебило автомат... Возьмите этот...

Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.

Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.

Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.

— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.

Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затылка за затылком, докуривает бычок. Плюет на него и вдавликает в землю.

Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.

Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться — один низенький каменный заборчик.

Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсули в круглые с крупными насечками гранаты.

— Во... правильно... — подмигивает он черным сощуренным глазом. — Я эту будку знаю. Миртовая будка. И подвальчик что надо!

— Ты был там?

— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал. С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.

Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс.

Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.

Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, — одна нога отставлена, другая согнута, — уголком глаза, напряженного, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, — кажется, имя.

Я даю сигнал.

Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.

И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.

Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.

Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.

Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.

— Ты что делаешь?

Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.

— Как что?.. Трофеи беру...

Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. По-видимому, часы.

— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было!

Кто-то толкает меня в плечо.

— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потихе немножко.

Я оборачиваюсь. С сигарой во рту, парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.

— А ты кто?

— Я? — Глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки. — Командир пешей разведки — Чумак.

Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.

— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно?

Я говорю медленно и неестественно спокойно.

— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?

— А вы кто такой, что приказываете?

— Ты слышал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.

Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь назад и вперед.

Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.

«Цвик-цвик...» Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-

то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится на-смешка.

— Не понравилось, лейтенант, а?

И ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.

Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается.

— Какого черта вы здесь возитесь, дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают.

Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке.

— Ну чего стали? Тащите дальше.

Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.

— Точно с цепи сорвался... — доносится до меня голос одного из них.

Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет, — он почему-то скатывается.

Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка. Широленные, болтающиеся на ногах сапоги.

— Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.

— Ладно, сойдет.

— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно.

Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.

Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали... Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки...

Рядом со мной загорелый бронбойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усами. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной.

В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются.

Танки идут прямо на нас...

Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.

Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых.

— В подвале, в углу, где чайник стоит...

Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронбойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок.

Подобьет или не подобьет?

Крест все приближается...

Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать.

— Что такое?

— Немцы обходят слева. Пехота их левой паровоза пошла...

Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.

Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.

— Почему второй пулемет молчит?

Голубые детские глаза готовы заплакать.

— Ей-богу, не знаю. Пять минут тому назад...

— Гранаты! Давай гранаты!

Пули свистят над самой головой.

Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...

Почему пулемет не работает?

— А-а-а-а-а...

Что-то валится на меня... Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой... Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи. Я бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, черт возьми?

Хочу выдернуть из кобуры пистолет, ремешок зацепился. Никак не вылезает... Черт!

И вдруг... тишина...

У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили?

Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Все как было. Петров у пулемета.

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает.

Голубые глаза смеются весело, по-детски.

— Видали, как отсекли? Сразу побежали.

Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю.

— А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет кое-какое отношение.

Голубые глаза смущенно опускаются вниз.

— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант.

Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел

что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.

Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями.

Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке.

Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тубетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик — тот самый. Тоже кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой.

Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова...

Так длится до обеда. Двадцать — тридцать минут отдыха — перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку — и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха.

Один раз «хейнкели» высоко, из поднебесья, — мы даже их не замечаем, — бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются.

Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом.

После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот, с крестом, так и застрял на железе — подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием.

Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять все успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.

В подвале невыносимо накурено. Дым стелется пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. А воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге всё распивают.

Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита.

Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану.

Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла.

Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает.

— А о чем докладывать?

— О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя.

Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника спина.

— День, сами видали, солнечный, а потери — ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы?

— Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку.

— А там пули. Убить может.

Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже.

Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу.

— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте помирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.

— Лучше или хуже, другой вопрос. Сколько у вас людей?

— Двадцать четыре. Как было, так и осталось. А разведчиков, советую...

— Танк кто подбил?

— А кто бы ни подбил, не все ли равно?

— Вы подбили?

— Ну, я... Не вы же...

— Расскажите, как вы его подбили.

— Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим.

— Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.

— А я откуда знаю?

— Вот я вам и говорю.

— Комбат — Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.

— Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.

Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом.

— Вместо Цыгейкина, что ли?

— Да, вместо Цыгейкина.

Пауза. Плевков через губу.

— Что ж... Мы с саперами обычно душа в душу.

— Надеюсь, что и впредь так будет.

— Надеюсь.

— А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил?

— Корф.

— Рядовой?

— Рядовой.

— Это его первый танк?

— Нет, четвертый. Первые три у Касторной.

— Награжден?

— Нет.

— Почему?

— А хрен его знает почему. Материал подавали...

— Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно?

На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.

— Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части?

Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-таки накурено.

Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной сигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы.

— А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет...

Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а как у того бронебойщика, залихватски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях. Прямо на гимнастёрке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастёрки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.

— Лейтенант... А лейтенант...

Я открываю глаза.

Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой, костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное, усталое лицо. Немного слишком холодные глаза.

— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь.

Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.

— Что вам надо?

Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.

— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.

Я встаю.

— Сидите, — переходит он вдруг на «вы». — Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения?

— Да.

Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время, не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал.

Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.

— Петрова, говорите, значит, убило?

— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.

— Так-с... — Нижними зубами он покусывает верхнюю губу.

— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.

— А соседи кто?

— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...

Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.

— Справа сорок пятый, товарищ капитан, — вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы. — От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.

— Сорок пятый... — задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку.

— Ну что ж, Керженцев. Пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать.

Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.

— Клишенцова — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...

И, повернувшись в сторону Чумака:

— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Или комбат, вернее.

Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.

Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.

На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью све-

жий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом — косяя и яркая. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарыхтит «кукурузник». Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно над «Красным Октябрем», висят ракеты, около десятка, осыпаящиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.

Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. «Кукурузник» бомбит уже где-то за Мамаевым курганом, — видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки — три штуки все-таки подожгли за день — все еще горят, и противный, едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.

Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.

— Ну, смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять «сабантуй»... А патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей.

И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.

Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются.

Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть. Курит. А может так, тлеет что-нибудь.

До чего тихо.

А завтра опять «сабантуй». Самолеты, крик, трескотня.

Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера. На самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли его фамилия. Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часика в три — контратакуем...

Я иду в подвал.

У будки уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его я не знаю.

Бранятся в телефон связисты:

— Мрамор! Я — гранит. Как слышишь? Мрамор, мрамор! Сукин сын, опять прикуривать пошел. Мрамор, мрамор, ядри твою бабушку...

Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Завалюсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать. Как убитый.

— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего.

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнувший потом живот, я уже сплю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь — ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и наконец все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним...

Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется «рама». Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба, уплывает к себе на запад.

Это вступление.

За ним — «певуны». «Певуны», или «музыканты», — по-нашему, «штукас» — по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косою цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнца не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «хейнкели». Их отличают по крыльям и моторам. У «хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их не любим — эти тяжелые

«юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить.

Целый день звенят в воздухе «мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувиркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «илюши» — штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Здравши до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы — маленькие черненькие самолеты вертятся как сумасшедшие высоко в поднебесье — иди разбери. Один Валега никогда не ошибается, глаз у него острый, охотничий — на любой высоте «миг» от «мессера» отличит.

А дни стоят один другого лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть лётные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуре неба. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслюенный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами.

Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.

Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят,

перед нами эсэсовцы — не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не то что-то еще более страшное. Кричат как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.

Дважды они чуть не выгоняют нас из «Метиза», но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает.

Так длится... кто его знает сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.

И вдруг — стоп. Тишина. Перекинулись правее — на «Красный Октябрь». Долбят его и с воздуха и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево-золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок.

Но в общем спокойно, только минометы работают да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. «Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели». Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на «Красном Октябре». Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем...

Так проходит сентябрь.

Идет октябрь.

2

Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев, держись, — гудит он в телефон, — не давай туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не пони-

маю, почему еще держусь, — с каждым днем людей становится все меньше и меньше.

Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только?

Впрочем, чего гадать! Захватив Валегу, иду на берег.

Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно-отеческого вида. На одной ноге сапог, на другой — калоша. Пьет чай с хлебом и чесноком. Побряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.

Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку.

— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой; косая сажень. — Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. — Чаю хочешь?

Я соглашаюсь, давно не пил настоящего чая.

Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом:

— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.

Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.

— Ну, так как же у тебя там? А, комбат?

— Да ничего, товарищ майор, держимся пока.

— Пока?

— Пока.

— И долго, ты думаешь, это «пока» протянется?

В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.

— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.

— «Думаю, пока»... Это нехорошие слова. Не военные. Про птицу знаешь, которая думала много?

— Про индюка, что ли?

— Вот именно, про индюка. — Он смеется уголком глаза. — Куришь? Кури. Хороший. «Гвардейский», что ли, называется.

Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.

— Так, что ли, в атаку ходите? А?

— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.

Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным и мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими.

— Штыков сколько у тебя?

— Тридцать шесть.

— Это активных?

— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хсзсзвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.

— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо.

— Нехорошо, — соглашаюсь. — Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил — за сеном, говорит, ехать должны.

Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная.

— Инженер по образованию? Да?

— Архитектор.

— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры... Так, что ли?

— Так.

— Вот и мне дворец построшь... Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь? Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чуйков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шивороты выколупываю. — Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. — Ну, а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?

— Знаю.

— Этим и будем сейчас заниматься. Придут ком-

баты, поговорим. А пока кури. — Он щелчком подталкивает мне пачку. — Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисагор — парень ничего, да в чертежах и схемах — ни бе ни ме... Бывает такое.

Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.

Потом приходят комбаты и другие командиры.

Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.

Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — 13-я гвардейская, Родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на «Красном Октябре», — 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. Пять или шесть километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется.

Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого, как буква S, оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

Да, повезло Кандиди, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне... Кто его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.

Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте.

— Задача простая — врыться, опутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.

Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза.

— У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон. И два батальона сорок пятого заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и что это за пополнение — мальчишки.

Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол.

— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?

— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.

— Неплохо еще. У Синицына и Кандиди и того нет. А это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?

С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Киркомотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем.

— Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор, — подымается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. — Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые не раньше чем через неделю.

Майор машет на него рукой, — знаю, мол, садись.

— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не подделаете. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву.

Все. Да, Лисагор. — Лейтенант в телогрейке вытягивается. — Сегодня к вечеру план оборонительных работ чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду.

И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем — и так накурили, непродохнешь.

3

На берегу Лисагор подходит ко мне.

— Разрешите представиться, — лейтенант Лисагор, командир саперного взвода Тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка Сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии.

Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам — пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецей. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать.

— Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем.

И берет меня за локоть.

Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять, никак не меньше. В виде буквы Т.

— Справа для майора, слева для начштаба, — объясняет Лисагор. — Три на четыре, представляете? А там, левее, еще один — для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко?

Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей.

Лисагор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает.

— Одну такую же выкопали. Досками обшили. Пол, потолок. Фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помкомвзвода мой, все своими руками сделал — печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где ставить. А Чуйков пришел, сел на

стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал.

— А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак пять.

Лисагор настораживается.

— Зачем?

— Слыхал, что майор говорил давеча насчет мин?

— Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а насвосемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут...

— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.

— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их.

— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует.

Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.

— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей, хоть выжимай.

Я встаю.

— Ну, что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять некем.

Лисагор тоже встает.

— Вот упорный какой... Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.

— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю людей.

— За чем? За минами?

— Ну, а то за чем.

Лисагор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.

— Пошли на воздух, пока тихо.

Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни. Сохнет белье — рубашки какие-то, каль-

соны. Сияют медные горы снарядов — маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.

Левее — полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами.

А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей. Копшатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копятся. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течение сильное, и ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла.

— Сейчас стрелять начнут, — говорит Лисагор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает сигарку.

Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый, точно гейзер, фонтан воды.

— Вот чудак, напрямик прут, — говорит Лисагор, аккуратно зализывая сигарку и собирая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку. — Только вымотаются и немцам работу облегчат. Плыли б по течению, прицел пришлось бы все время менять.

— По течению плыть — к фрицам попадешь, — говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой.

Фонтанов становится все больше и больше. Лодка неистово машет веслами.

— Плохой минометчик, — авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом. — Вчера с третьего раза в щепки разнес.

— Вчера и лодка в пять раз больше была, — отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом, — и грузу гора, еле двигалась.

Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд

прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть.

— А это не наша? А? Не коробковская? Часа два назад поехали.

— Может, и наша, разве разберешь. В ней тоже четыре весла.

— Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас.

— Сейчас пулемет начнет, — спокойно говорит Лисагор, затягиваясь сигаркой и пуская кольца. — Как пить дать застрочит.

И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.

Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами.

— Вот сволочи... — вырывается у кого-то за моей спиной, — доконают-таки...

На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило.

Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.

— Метров пятьдесят осталось, а там уже не видно с Мамаева будет.

— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!

Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.

Кто-то на самом берегу орет во все горло:

— Давай, давай, давай!..

И машет пилоткой над головой.

И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.

Лисагор швыряет окурок.

— Вот так вот и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой — давай, давай патроны...

На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62-я — два катера с баржами. За ночь успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а что это для восьми или десяти дивизий,

сидящих на этом берегу, — капля в море. Приходится собственными средствами доставлять.

— В нашем полку целая флотилия есть, — говорит Лисагор, — пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье. Текут. И осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят. — Он искоса поглядывает на меня. — А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пойдем, что ли, ко мне...

Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.

— Видишь, как живем. Сапожник — без сапог. Сам рыл.

Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и приклепленную к стенке фотографию полной девицы в берете.

Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки.

— Что ж, чокнемся по случаю знакомства, — подмигивает Лисагор.

Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисагор прямо из горлышка хлещет.

— А мы на передовой только один раз водку получали, — говорю я.

Лисагор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок.

— До передовой полтора километра, у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. Вообще рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему кладут. А так — жить можно. Еще будешь?

Он достает еще одну четвертушку.

— Вот закончу эти два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится. Люди прямо на берегу

спят, а через месяц — зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь...

Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.

— Правильные?

— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой. — Он хлопывает меня по колену. — Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтовая привычка. Я даже с Абримовым на «ты», а он капитан. Между прочим, — Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо, — опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.

Откинувшись назад, он вытягивается. Хрустит пальцами. По очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.

— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхин-Гол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.

Я перебиваю его:

— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?

— У меня? Восемнадцать, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик.

— А с минным делом как они?

— И с минным, конечно, как ты думаешь! Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины хай батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуюсь. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово...

Я встаю.

— Людей твоих, значит, завтра жду.

Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.

— Ну, и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе

эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну, да ладно уж, пришло.

— Неплохо было бы, если бы и сам заглянул.

— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю, Гаркушу — мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет.

— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальоны совсем без саперов...

Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами.

— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело десятое — приказание выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй! В наступление — сапер разминируй! В разведку — сапер вперед, мины ищи! А ну их к черту...

— Как знаешь. Ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров.

— Бувай... Возьми на дорогу пару витаминчиков.

Он сует мне в карман телогрейки два холодных шершавых, ослепительно ярких апельсина.

— Жду, значит, на днях.

И смеется мелким, рассыпчатым смехом,

4

Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за ночь стреляют.

Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножия

кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы 1-го батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда без малейших признаков соединительных ходов.

Да, это не «Метиз». Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно.

Участок сам по себе не велик для нормального батальона, каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И насыпь эта, проклятая, разрезает участок на две неравные части — правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляй ими всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами.

Ищу себе КП, хотя бы временный, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы.

Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пушу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.

Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял,

конечно, самую нужную папку и всем мешает, роаясь под ногами.

— Должно быть, там забыл, на старом КП, — бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам.

Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего.

Часам к пяти приходят командиры рот.

— Ну как? — спрашиваю.

Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами.

— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься.

У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем, мне он нравится.

Пришел он к нам дней десять тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую, низкую дверь.

Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся.

— Весь ваш запас, должно быть, выдул.

И спросил, где его рота находится.

— Да вы посидите, очухайтесь сперва.

Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший, с красной полоской от фуражки лоб.

— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку, сами знаете, как...

Харламов дал ему закурить. Он скрутил сигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить.

Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присев в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь.

— Ну? Кто меня поведет?

Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника.

На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то в положенной на колени тетрадке.

— Письмо на родину, что ли?

— Нет. Так... Чепуха... — смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман.

«Должно быть, стихи», — подумал я и больше не спрашивал.

В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.

Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин.

Фарбер, комроты пять, сидит на кончике ящика из-под патронов — усталый, как всегда рассеянно-безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.

Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты, сам он никогда не говорил.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расше-

велить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся, я даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то, на «Метизе» еще, я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой до колен солдатской шинели спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так просто... Ничего...

— Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают.

— Пожалуй... — спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по видимому, привычка или воспитание, внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня.

— Для большего авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия.

Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать человек, а не сто пятьдесят.

— Ну вот, один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Станный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание, и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет.

Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.

На дворе, сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена и приемо-сдаточные документы посылаю со связным.

Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.

5

Утром мы все ожидаем атаки, немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий, день оказывается настолько тихим, что даже обед удастся притащить с берега днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и арналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, — «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем»...

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, ра-

зогревает их на примусе, потом скребет мне спину ро-гожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас немецкое белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.

— Ну, как жизнь?

Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.

— Так и до конца войны жить можно... Забастовал что-то фриц.

Я присаживаюсь рядом.

Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки и трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось.

Я сижу на столбе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись — «2 Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.». На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, вывеска: «Мужской и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженных брюках и котелке сосредоточенно-равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев, куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят.

— А у вас тут спокойно, — говорю я.

— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, в норе повернуться негде, весь изрежешься.

Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплюснутая из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из

газеты портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым, симпатичным лицом.

— Это кто?

Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится:

— Джек Лондон.

— Джек Лондон?

Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.

— Почему вдруг Джек Лондон?

— Да так... Уважаю его... Вот и... Молока хотите?

— Молока? Здесь? Откуда?

— Сгущенного... Американского. Ребята достали.

Я с удовольствием облизываю ложку густого, при- торно-сладкого, похожего на липовый мед молока.

— А все-таки откуда у вас этот портрет?

— Откуда? — смеется Карнаухов. — Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А «Мартина Идена» не успел. Ну, и... взял с собой на время.

— Вы любите Джека Лондона?

— Да. Я его несколько раз перечитывал.

— Я тоже люблю.

— А его все любят. Его нельзя не любить.

— Почему?

— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил.

Крупская ему читала.

— Дадите мне потом почитать?

— Ладно.

— А кого вы еще любите из писателей?

Он опять смущается.

— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был, не знаю, откуда она его взяла, знаете, в коричневых обложках, приложение. И еще какая-то чепуха — Мельников-Печерский и еще кто-то, не помню уже, иностранный.

— Ну, это в школе. А потом?

— Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.

— Знаю.

— Я, пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался, золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.

— Ну?

Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.

— Как видите. За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете.

И он опять смеется.

Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой и дуэтом из «Запорожца за Дунаем». Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку.

— Ну, вот и все, что у меня есть, — почесывая затылок, говорит Карнаухов. — Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.

Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка.

Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок.

На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.

— А наших не видно, — шепчет Карнаухов, — склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи, — даже днем копают.

В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.

— Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов?

Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.

Да... Не такой представлял я себе до войны передо-

вую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изрешеченной пулями.

Была у меня когда-то книга — «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма.

Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем.

Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...

Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови.

— А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...

И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.

— Ох, и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с восемнадцатью человеками.

Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки.

Но как это сделать?

6

Вечером я отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвезти почти к самой

насыпи. Рискуя, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно.

Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.

Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.

— Целый день кайлили в туннели, а утром придем, опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.

Гаркуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью.

Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку.

Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено, Гаркуша встает. Стряхивает с колен шелуху.

— Ну, что ж? Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?

Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по два-три метра тянутся как раз посредине ската.

Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.

— Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони...

Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом.

Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Сендецкий — «Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись».

Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.

Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут вверх, волоча лопаты, мешки, шинели...

— Начальнички называется...

Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы — доброй половины недосчитался бы...

Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.

Угодили в грязь. По-видимому, ручей — дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу. Уголком глаза из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.

— Ну, где будем?

Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.

— Как вспыхнет ракета, смотри налево... — От напряжения голос у меня слегка дрожит. — Увидишь бочку железную. Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда... В шахматном... Как говорили.

Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать.

Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.

— Товарищ лейтенант...

— Что?

— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...

Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я подымаю голову и говорю:

— Хорошо.

За минное поле я уже спокоен.

Вытираю рукавом лицо.

Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах немцы, а свои где-то там, наверху... И каждой mine надо выкопать ямку, вложить МУВ — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсюлем, — проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете.

Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков.

За час они, по-моему, управятся.

А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля братья надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах, да еще схему с азимутами и привязками, и бланков вдобавок нет — все сам, от руки.

Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то, в шипах, исколол.

Бойцы молча копают. Слышно только, как лопатой о землю ударяют. Кто-то совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердую, как камень, землю.

— Хоть бы пару кирок на батальон дали. А то лопаты называется. Масло ими резать.

Кирки... Кирки... Где же их достать? Чего бы только я не дал за два десятка кирок! Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масла искали.

Так и за месяц не окопаемся.

В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и сто мин...

А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то, или с выходом опоздала. И как назло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее, светлее.

Последние остатки тени медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну.

Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский срывающийся голос. Связой Карнаухова, кажется.

— Лейтенанта, комбата, не видали?

— Це якого? Що з биноклем ходити? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.

— Да, нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей.

— А-а. В пілотці синій... Ну, так би і сказав, що в пілотці. А то — комбат... Хіба всіх їх за день начальників запам'ятаєш...

— Ну так где он?

— А я не бачив, — добродушно отвечает голос. — Не було його, їй-богу, не бачив.

— Фу ты, дура какая.

— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...

Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что «якийсь тут був з начальників, на командира роти ще й кричав, що не так копаємо, але куди він подався — біс його знає...»

— Кто меня ищет?

— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая, тоненькая фигурка.

— Я... И не вытягивайся, ложись.

Садится на корточки.

— Ну, в чем дело?

— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.

— Меня? Срочно? Кто звонил?

— Я не знаю... Полковник, что ли, какой-то.

Какой полковник, откуда он взялся? Ничего не понимаю.

— И срочно, сказали, в три минуты чтобы...

Не доходя карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.

— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли... С орденом... И еще какие-то с ним... Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются.

Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался

на мою шею. Адъютант старший называется, — начальник штаба... На кухне ему, а не в штабе работать.

Немцы вдруг поднимают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.

7

Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимся, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом — наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.

Харламов — навывтяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.

Прикладываю руку к козырьку. Докладываю — батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза не мигая смотрят на меня с худого лица. Сухие, тонкие пальцы слегка постукивают по столу.

Все молчат.

Я опускаю руку.

Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.

Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.

— Вы что? Дрались с кем-нибудь? А?

Молчу.

— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.

Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.

— Ну, ладно, — смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой. — Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло. Десять суток только получил — к пустой башке руку поднес.

Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.

— Ну, что же, комбат, похвастай, что сделал за сутки? Если на передовой то же самое, что в бумагах творится, — не завидую тебе.

— Мало сделано, товарищ полковник.

— Мало? Почему? — Глаза не мигают.

— Людей жидковато, и с инструментом плохо.

— Сколько у тебя людей?

— Активных тридцать шесть.

— А бездельников, связанных и тому подобное?

— Всего около семидесяти.

— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать — двадцать человек, и ничего — воюют.

— Я тоже воюю, товарищ полковник.

— Он «Метиз» держал, товарищ полковник, — вставляет майор. — Пройшей ночью мы его передвинули вправо.

— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на «Метизе» сидит, и немцы его не с «Метиза» выгонять будут... — и опять ко мне: — Окопы есть?

— Копают, товарищ полковник.

— А ну, покажи.

Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.

Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему.

— А ты не учи. Сам знаю.

Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается.

— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать. Пошли, комбат.

Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом — еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.

У карнауховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:

— Чего стал?

— КП ротное здесь.

— Ну и пускай здесь... Где окопы?

— Дальше. Вот за теми трубами.

— Веди!

Окопы сейчас хорошо видны — и наши и немецкие. Луна светит всю.

— Ложись.

Ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не го-

ворит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.

— А где мины ставишь?

— Вот там, левее, в овраге.

— Прекрати. Людей назад.

Я ничего не понимаю.

— Ты слышал, что я сказал? Назад людей...

Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.

Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.

— Видишь его пулеметы? На сопке.

— Вижу.

— Нравятся они тебе?

— Нет.

— И мне тоже.

Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.

— Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.

Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?

— Так вот... Завтра чтоб ты был там.

— Где там?

— Там, где эти пулеметы. Ясно?

— Ясно, — отвечаю, но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться.

Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли.

— Пошли.

Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папироску, «Нашу марку» по-моему, перелистывает лежащего на столе «Мартина Идена». Заглядывает в конец. Недовольно морщит брови.

— Дурак. Ей-богу, дурак.

И, подняв глаза на меня:

— Твоя?

— Командира четвертой роты.

— Прочел?

— Времени нет, товарищ полковник.

— Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?

Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.

— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.

— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости.

Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.

— Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята, — слегка поворачивает голову в сторону майора.

— Боевые, товарищ полковник.

— Ну, так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встает?

— В начале первого.

— Хорошо. Часов в полдиннадцатого пустим «кукурузников». Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцатый начнешь атаку. Понятно?

— Понятно. — Тон у меня не очень уверенный.

— Никаких «ура». Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?

— Есть. Человек десять.

— Ну, тогда возьмешь.

И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.

Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить, — это еще полдела, надо и закрепить.

Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...

— Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин, — всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь.

Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлопающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего... Встает резким, коротким движением.

— Ну, комбат... — и протягивает руку. — Керженцев, кажется, твоя фамилия?

— Керженцев.

Рука у него горячая и сухая.

В дверях он поворачивается:

— А этого... как его... что утопился под конец... Мартина Идена... никому не давай... Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.

Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу.

— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын... — и сам улыбается не совсем удачному своему выражению. — Зайдешь утром ко мне, помозгуем.

* * *

Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.

— Бояджиева ранило, — грузно опускается на койку. — Челюсть оторвало.

Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.

— Назад возвращались... Увидел... Из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.

Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А вни-

зу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...

— Лучший боец был, — устало говорит Гаркуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. — Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...

И, немного помолчав:

— Зря, значит, все ставили?

Я ничего не отвечаю.

Раненого уводят.

Саперы, выкурив по папиресе, тоже уходят.

Я долго не могу заснуть.

8

С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял: стоит передо мной, моргает черными, армянского типа глазами, разводит руками: «Положил в ящик, а теперь нету...» И тухлый пшенный суп надоел — каждый день, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет уже три дня московских нет. И людей с берега всего восемь калек дали.

Все злит.

У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему — перекрыть землянки рельсами, на «Метизе» их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него и, когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.

Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны. Просто чтоб не болтался перед глазами.

Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.

— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься.

Беру у него книгу. «Севастопольская страда», III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.

«...Убыль в полках была велика, пополнения же если и были, то ничтожны, так что и самые эти назва-

ния — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волинский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках одиннадцатой дивизии: Камчатском, Охотском, Селингинском, Якутском, так же как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском, — не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом...»

Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста. Ну, пятьсот. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест «Красный Октябрь» долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. А пять дней этих жди и моли бога, чтоб немцы паиньками сидели.

Перелистываю дальше.

«Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали островами, весело хохотали...»

Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей...

Я откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.

Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики, — Валега уже где-то достал, — маленькие, синенькие, с самодельными стрелками из консервной банки.

Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... я даже не помню когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свиная была, а так просто поджаренное мясо.

Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.

В половине одиннадцатого прилетит «кукурузник». В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и укрепиться. А если «кукурузник» опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак я, не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбится, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива.

Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть.

Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой, в первых рядах.

Смелый, дьявол!

А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это — показное, пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.

И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то: «Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди».

Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С ним в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть поблед-

неет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.

Даже во время бомбежек, — а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, — он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет.

Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет...

Жили, учились, о чем-то мечтали — тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история. архитектуры, Парфеноны.

Парфенон... как сейчас помню — 454—438 гг. до н. э. Замкнутая колоннада — периптер; 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезейона — 6 и 13... Дорический, ионический, коринфский стили. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.

Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонна из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А антаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или, наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акро... Акро... тьфу ты пропасть, забыл-таки... Да... Акротеры.

А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли.

Что за чепуха в голову лезет. Кому это нужно. Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба — и нету купола...

Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово.

А странно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет.

Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока,

в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтоб меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал...

Кто-то тянет за шинель.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Из политотдела пришли, вас спрашивают.

Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с полевыми сумками, полными бумаг. Поверяющие, должно быть, или представители штаба к ночной атаке.

Надо вставать.

Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.

9

Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами.

Чумак козыряет — прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под челки. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались — его отозвали на берег.

Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше нам не о чем с ним говорить. Он несколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его — их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы, — стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки.

— Маскхалаты, возьмете?

— Нет.

— Почему? У меня как раз четыре есть.

— Не надо.

— Водки дать?

— Мы свою пьем. Чужой не любим.

— Ну, как знаете.

— Можете за наше здоровье выпить.

— Спасибо.

— Не стоит.

И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.

В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива. Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти непрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.

— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезавшие на нижнюю губу.

— Да, продумал.

— Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?

— Знаю.

— А как у вас с флангами?

— С какими флангами?

— Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?

— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идём на риск.

— Это плохо.

— Конечно, плохо.

Он записывает что-то в блокнот.

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.

— Четырнадцать?

— Да. Четырнадцать. А четырнадцать на месте. Всего двадцать восемь.

— Я бы на вашем месте не так сделал...

Он заглядывает в свой блокнот.

Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат.

Я медленно вынимаю из кармана портсигар.

— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.

Он поджигает губы, насколько зубы позволяют ему это. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они, славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.

Больше никто ничего не говорит.

Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает — чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по сколько патронов у каждого. Адское терпение у этого человека. А капитан все записывает.

Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов, здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут и оттуда следить.

Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили.

Я выхожу на двор.

Ночь темная-темная. Где-то далеко, за «Красным Октябрем», что-то горит. Чернеют тонкие, точно тушью прорисованные, силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают ракеты. Сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим, днем его хорошо видно отсюда. Все время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерне сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы.

По старой, с детства еще, привычке ищу в небе знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и пояс из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.

— О чем задумался, комбат?

С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.

— Да так.. Ни о чем. На звезды смотрю.

Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползают откуда-то затерянные обычно в подвалах сознания мысли о бесконечности, космосе, о каких-то мирах, существовавших и погибших, но до сих пор подмигивающих нам из черного, беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются. А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают.

— А в Сибири уже снег, — говорит Карнаухов.

— Должно быть, — отвечаю я.

— И морозы.

— И молоко льдинами продают. Кусками. Правда?

— А во Владивостоке еще купаются.

— Там, говорят, море холодное.

— Холодное. Но все-таки купаются.

Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит «кукурузник». Не наш ли? А разведчиков все еще нет. Прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее. Приближается, потом удаляется. Не наш. Глухие разрывы далеко на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают.

И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки немецких зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что, прекратись оно вдруг, нам стало бы как-то не по себе, чего-то не хватало бы.

— Ну, как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо спрашивает Карнаухов.

— Возьмем, — отвечаю я.

— И по-моему, возьмем. — И он слегка сжимает мне плечо рукой.

— Вас как зовут? — спрашиваю я.

— Николаем.

— А меня Юрием.

— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.

— Жив?

— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.

— Вероятно, жив, — почему-то говорю я.

— Вероятно, — несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.

Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он подымает голову.

— Без четверти десять.

— Без четверти десять...

— А разведчиков нет?

— Нет.

— Это плохо.

— Возможно.

Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает.

— Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонный КП.

Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету.

— Почему?

— Потому...

— Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.

Я чувствую, что начинаю говорить глупости.

— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.

— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И солку со мной атаковать будете?

Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно

но складывает газету, засовывает ее в планшечку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.

В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках.

Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, — без глаз, без ушей.

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.

Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: «Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?» Семечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...

Голова Чумака появляется в щели, как раз когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.

Я ничего не спрашиваю. Жду.

Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садит-

ся на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.

— Закуривайте.

Всовывает в прозрачный из плексигласа мундштук сигарету с золотым обрезом.

— Можете начинать. Семафор открыт, — и, кивнув своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону.

Я спрашиваю:

— Мины есть?

— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.

— Много?

— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.

В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсулю, капсулю воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.

— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали — ничего нет.

— А немцев много?

— Черт его знает... Как будто не очень... В блиндажах сидят. Патефон крутят. «Катюшу» нашу...

Чумак шарит что-то по карманам.

— Стихов не пишете?

Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.

— Нет. А что?

— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.

— Нет. Не пишу.

— Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой, поэтический.

И, повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.

— Немца там одного кокнули, в охране сидел.

Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чумак иронически улыбается.

— Чтоб солдатам веселее было?

Я ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.

— Далеко?

— Нет. Не очень.

— Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее.

Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами.

— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.

— Куда?

— Туда.

— Ага...

По глазам его вижу, что ничего не понимает.

— Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь.

Он встает и торопливо кулаками протирает глаза.

— Хорошо... Хорошо...

Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.

Валега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит.

Он подвернул ногу и дня три уже похрамывает.

— Как же это так... — недоумевающе смотрит он на меня маленькими, недовольными глазками из-под круглого, выпуклого лба.

Я вставляю магазин в автомат.

— Может, покушаете на дорогу? Консервы есть. Тушенка. Вы ж и обедать-то не обедали как следует. Я открою.

Нет. Мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом,

«Кукурузник» опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могут устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.

Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Сендецкий — не очень умный, но смелый паренек. На «Метизе» он неплохо отражал немцев. Был даже ранен, легко, правда, но в санчасть не пошел.

Сосед мой перестает хрустеть.

— Слышите?

— Что?

— Не «кукурузник» ли?

Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят — не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.

Звук приближается. Назойливый, какой-то домашний, совсем не военный... «Кукурузник», «русс-фанер»... В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук большущий гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.

«Кукурузник» уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, прожектором его не поймашь, слишком низко.

Сейчас сбросит...

— Ну!

Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.

Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять — десять покружится, чтобы дать нам возможность подползти.

«Кукурузник» делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил.

«Кукурузник» сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопущие. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.

Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.

«Кукурузник» опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.

«Кукурузник» строчит из пулемета беглыми, короткими очередями, точно отплевываясь.

Пора...

Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну, тогда возьми».

Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут.

«Кукурузник» все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо.

А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было...

Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки — кустарник сухой. Неосторожный все-таки народ.

Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда, большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее.

И вдруг — «трах-тах-тах-тах...» над самым ухом. Я вдавливаю в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся?

Приподымаю голову. Ничего не разберешь... Что-то темнеет... Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. «Кукрузник» уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать.

Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, шупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что.

«Трах-тах-тах-тах...»

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое... Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.

Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом труд-





но что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.

Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А они там — впереди.

— Где?

— Там, у пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.

11

Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.

— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль.

— Утром найдешь. Никто не заберет.

Он смеется:

— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку?

— Взяли, Карнаухов. Взяли! — И я тоже смеюсь, и мне хочется обнять и расцеловать его.

На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло.

— Пошлите кого-нибудь на КП, пускай связь тянут.

— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.

— Людей не проверяли?

— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, не плохо. Второй же...

— Второй — туда, правее. Видите? — говорю я.

— Может, сходим посмотрим?

— Сходим.

Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматри-

ваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих немцев не видно и не слышно. Стреляют где-то правее и левее — на участке первого и третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два наталкиваемся на трупы убитых немцев. За «Красным Октябрем» все еще что-то горит.

— А где Сендецкий?

— Я здесь, — неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.

— Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?

— Да, дальше никого уже нет.

— Понятно, Сендецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там.

Сендецкий исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натываемся на кого-то.

— Комбат?

— Комбат. А что?

— Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.

Голос Чумака.

— Ты что здесь делаешь?

— То же, что и вы.

— А ты ж шабашить собирался.

— Мало ли что собирался...

Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.

— Ну... Чего стал?

— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...

— Что?

— Я думал вы поэт, стишки пишете... А выходит...

— Ну, ладно, веди.

Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Подымается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова немного кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, но-

ги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.

Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за «Красный Октябрь» взялись. Но я их знаю, так не отвяжутся. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осият, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.

Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.

Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?

* * *

Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплившей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.

На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.

Чумаки чувствуют себя хозяином, наливают коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.

— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему.

Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух.

Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.

— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.

— Какая рука?

Золотистые глаза смеются.

— Да вот эта, в которой папироса у вас.

Ничего не понимаю.

— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.

— Какое левое плечо?

— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову. — Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.

— Постой... Постой... Когда же это?

— Когда? Да с полчаса тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!.. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему...

Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.

— За такой удар и часики не жалко, — говорит Чумак, роясь в кармане. — Хорошие. На камнях. Таван-Вач.

Мы оба смеемся.

В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.

— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.

— Как так?

Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.

— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.

— По какому оврагу?

— По тому самому... где передовая у нас шла.

Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.

— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.

— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас...

Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.

Неужели отрезали?

Связисты тянут сквозь дверь провод.

— Это точно, что немцы в овраге?

— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши новую оборону занимали?

— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.

— А ну давай, соедини с батальоном.

Белесый навешивает на голову трубку.

— Юпитер... Юпитер... Алло... Юпитер...

По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.

— Юпитер... Юпитер... Это я — Марс...

Пауза.

— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...

Лешка, красноносый, лопухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет.

— Перерезали. Факт... — спокойно говорит белесый и вынимает из-за уха загодя, должно быть, еще на месте скрученную сигарку.

Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносятся автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.

Потом появляется Чумак.

— Так и есть, комбат, — колечко.

— Угодили, значит?

— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.

— И много?

— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.

— А где Карнаухов?

— Пулемет переставляет. Придет сейчас.

Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.

— Закуривайте. Трофейные.

Закуриваем.

— Да, Чумак, влопались. Что и говорить!

— Влопались, — смеется Чумак. — Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?

Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую обо-

рону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.

— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.

— А сколько людей всего у нас?

— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.

— Моих ребят еще трое, — вставляет Чумак, — да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.

— Двадцать шесть, выходит, — говорю я.

Карнаухов подсчитывает в уме.

— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.

Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то — зажаты с двух сторон.

Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.

Мы идем проверять огневые точки.

12

Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положилась на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Гово-

рил я, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался...»

Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединиться с нами.

Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны сэкономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пяточке. От мин немецких отбоя не будет.

В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.

В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.

Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.

Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.

Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.

После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья — симоновских. Может,

наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.

Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат.

Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.

13

Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.

Мы с Карнауховым чистим пистолеты.

Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.

— Порядки знаешь какие там? — говорит Чумак. — В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего — боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все... Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. «Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться...» Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр-р...

Карнаухов улыбается уголком рта.

— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.

— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.

Тянется за другой сигаретой.

— Слабые, сволочи. Не накуришься...—и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило — левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше, или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь... А бабец — что надо! Косищи — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку, — я еще не ходил, — яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылазить... Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер — как ты. Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали. А за углом дом был знакомый. Там передевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигнали. А когда забили окно, — заведующая пропускником увидала, — наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!.. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспособливается народ. Под землю зарой, и то спикурует.

Карнаухов смеется.

— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном — хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежащие на койках.

— Что кино... — не поворачиваясь, перебивает его Чумак, — мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу.

Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запыкировали...

Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.

Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.

В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.

За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.

Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.

— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.

— Нет, просто так, полежу.

— Слушать надоело?

— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.

И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее. И не верится, что совсем еще недавно мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пяточке, отрезанные от всех.

— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.

— Хорошо.

— Лучше, чем здесь?

— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.

— А по своим не скучал?

— По каким своим?

— По полку, ребятам.

— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.

— А говорил, в госпитале хорошо, — смеется Карнаухов, — жри и спи...

— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь куда деться, на передовую тянет, к ребятам.

Карнаухов собирает пистолет, — у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер», — впихивает его в кобуру.

— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?

— Три. А ты?

— Два.

— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.

Карнаухов смеется:

— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.

— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.

Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.

— Удивительная вот штука, товарищ лейтенант, — говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны, — когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.

— А таких ты не видал, — перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть, — что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют — фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один...

Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.

— Ты откуда это?

Карнаухов тоже смотрит на дверь.

Валега... Самый настоящий Валега — головастый, крутолобый, в невероятных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят. Мнется.

— Ты откуда взялся, Валега?

— Оттуда... От нас...

Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок...

— Тушенку принес, шинель...

— Ты с ума спятил?

— Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.

— От кого?

— Харламов дали, начальник штаба.

— Это он тебя и послал?

— Вовсе не он. Я сам пришел... — Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. — Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.

Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:

«5.10.42.12.15 КП Ураган.

Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказа 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.

Л-т Харламов (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно-барочным «Х» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы порхающих вокруг нее.

Разрываю записку. Ключки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж...

Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.

— Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть — разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?

— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.

— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.

Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.

— Не стоит, Валега. И так слопаем.

И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка!

14

Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает. Мы перестаем ждать.

Еще один день, значит.

Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — немолодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.

— Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено. — Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.

Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило.

Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.

— Это столбняк, — сказал Карнаухов, — у нас в медсанбате умер один от этого.

Через два часа раненый умер.

Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат.

В наш блиндаж попадает мина — стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.

Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.

Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.

Последнюю сигарку, собранную из всех карманов, — наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, — выкуриваем втроем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.

Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал ру-

кой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой...» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.

После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Переменяясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.

Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.

Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...

Вечером мы подводим итог.

Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.

Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных — от силы на полдня хватит.

Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.

Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же думать о воде. В термосе не больше двух литров, — пулеметный НЗ.

Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедочек, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился

зубами. Я вылезая в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.

Раненые утихи. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, — и все. На фоне сырой, обсыпавшейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.

Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.

— Надо будет побаниться, — устало говорит он, почесываясь. — Соединимся, устрой баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.

— Пока война не кончится, все равно не избавишься, — успокаивает Карнаухов. — Белье не прожаривают. Постирают в Волге — и все. А что толку от такой стирки?

Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.

— Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог, — говорит он, не отрываясь от своей работы.

Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.

Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.

— Эх, закурить бы...

— Да, неплохо бы. Хотя бы «Мотор» за тридцать пять копеек. Одну на троих.

— «Мотор»... Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать...

— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?

— «Беломор» и «Труд». В Киеве такие были, тоже два рубля.

— И я «Беломор»... Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.

— Что вы после этого в папиросах понимаете, — говорит Чумак. — О «Беломоре» мечтают. «Казбек» —

вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко.

Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.

— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руку, — пошел по Примбулю.

— Ты кем до войны был?

— Я? Шофером, «ЗИС» водил. Потом на «Червоний Украине» служил. По Примбулю в Севастополе хиба ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький — «форма раз», только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-шел в город.

— Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб? А, Чумак?

Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.

— О водке еще думал. О чем же еще. Денег — завались. Научным работником становиться не собирался... — Пауза. — А вот сейчас...

— Неужели простыл?...

Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.

— Не то чтоб простыл... Но вот на войне... — Опять пауза. — Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот... — он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне, — таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело.

Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.

— В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червоний» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков...

В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить.

Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.

— В общем, не любил я его. Да и он меня...

Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.

— Выбил я ему таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцать от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.

Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов, как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него, длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.

— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем — нету Терентьева, что говорить...

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.

— Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали...

Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.

— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.

— Да. Что-то в этом роде, — отвечаю я.

Карнаухов улыбается.

— Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?

— Да. С немца началось.

— Не понравились вы ему тогда, говорит.

— Что ж делать, на всех не угодишь.

— А теперь как? Наладилось?

— Что наладилось?

— Помирились?

— А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых.

— В этом ему не откажешь.

— Не только в этом.

— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.

— Не такие? А какие же?

— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать.

— А может...

Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.

— А где бачок пустой? Из-под воды.

— Какой бачок?

— Ну термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.

— А что — нет?

— Нет.

— Куда ж он делся?

— Вот я и спрашиваю.

— Я выходил, он у входа стоял, — говорит Карнаухов, — споткнулся еще.

— А теперь нет. Я все обшарил.

— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.

— А где Валега?

— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?

— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.

— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.

— Чего-нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит — журчит. Может, ключ какой.

— Какой там ключ. Керосин из цистерн течет.

Ночью знаешь как слышно? До путей метров двести, не больше.

— А почему не проверить?

— Проверь, если охота.

Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.

— Ты где пропадал?

— Я не пропадал, — отвечает он, выковыривая щепочкой грязь из автомата.

— Бачок брал? Термос?

— Брал.

— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились.

Валега смотрит на меня с укоризной.

— Вы же сами говорили, что воды нет.

— Ну?

— Вот я и пошел за ней.

— За водой?

— Ну да — за водой.

— На Волгу, что ли?

— Нет. До Волги не дошел.

— Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?

— Воды не принес. Вина принес. — И он опять углубляется в затыльник своего автомата.

Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона.

— Отчего ж ты ничего не сказал?

— А вы б не пустили. Чего ж говорить.

В общем, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую.

— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие, битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то по-своему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал.

Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут.

И Валега улыбается чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.

— Вино — дрянь, кислятина... Как раз для пулемета.

Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.

Мне снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.

15

Атака наших не удастся. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыпят из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку.

До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.

В семь прилетает «рама». Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку.

Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики, на двух — Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.

Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.

Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.

Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас.

— Сволочи! — говорит Валега.

— Сволочи! — повторяю я.

Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем.

Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку.

— Двоих левых накрыло, — кричит он.

Мы остаемся с тремя пулеметами.

Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих, — говорит он, вынимая затвор. — Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму.

Потом убивает старика сибиряка.

Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками...

Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает — срезает пулемет.

Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может, то самолеты над головой? Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде.

Давай еще! Еще... Еще... Валега! Он тащит ящик. У него смешно дрыгает зад — вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий.

Давай!.. Давай!..

Потом какое-то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.

— Разрешите, товарищ лейтенант.

— Уйди...

— Да вы ж ранены...

— Уйди...

Лицо исчезает, вместо него что-то белое, или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее. Дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.

— Узнаешь, инженер?

И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колющий.

Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.

— Ну, узнаешь?

— Господи боже мой, конечно же!

— Ну, слава богу.

— Слава богу.

Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.

— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.

Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается.

— Какое там раненый. Сорвало кожу, и все. Завтра заживет.

Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.

— Пить хочешь?

Я не успеваю ответить, в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.

— Откуда взялся, Ширяев?

— С луны свалился.

— Нет. Серьезно.

— Как — откуда? Получил назначение, и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен?

Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.

— А тебя малость того... подвело, — говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица. — Не очень-то отдыхаете.

— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?

— Не все ли равно откуда. Взялись, и все.

— А фрицы?

— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.

— А вас много?

— Как сказать. Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Врешь!

Он опять смеется. И все окружающие смеются.

— Чего же врать. По-твоему, много?

— А по-твоему?

— Как сказать...

— Стой... А мост? Мост как?

— Сидят еще там человек пять, — вставляет Харламов, — но не долго уж им.

— Здорово. Просто здорово. А Чумак, Карнаухов?

— Живы, живы...

— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.

Я выпиваю еще полторы кружки. Ширяев встает.

— Приводи себя в порядок, а я того, посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем — Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? — Он протягивает руку. — Да, Филатова помнишь? Пулеметчика. Пожилой такой, ворчун.

— Помню.

— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.

— Жаль старика.

— Жаль. Мировой старик был.

— Мировой.

Несколько секунд мы молчим.

— Ну, я пошел.

— Валяй. Вечером, значит.

И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.

Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.

* * *

Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.

Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и дорожку в волосах сделало. Я могу даже пить. Правда, немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Эта та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.

— Разве можно выбрасывать. Прошлый раз выпивали, сами говорили: «Вот селедочки бы, Валега...» — и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры.

Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировка окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом.

Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же — даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота.

— О Максимове ничего не слышал? — спрашиваю я.

— Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, буд-

то видел его где-то по эту сторону Дона. Но мало вероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.

— А из наших с кем встречался?

— Из наших? — Ширяев морщит нос. — Из наших... кое-кого из командиров рот. Начальника разведки — Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого... Да! — Он хлопает ладонью по столу. — Как же! Друга твоего, химика, как его?

— Игоря? Где? — Я даже приподымаюсь.

— На этой уже стороне. Дней пять тому назад.

— Врешь.

— Опять врешь. На «Красном Октябре» он. В Тридцать девятой.

— В Тридцать девятой?

— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина.

— А ты что в Тридцать девятой делал?

— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там знаешь что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль, — черт-те что... «Певуны» как раз налетели. Я — в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.

— Ну, живой, здоровый?

— Живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в Сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько. В штабе армии и попросился в Сто восемьдесят четвертую. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.

— Молодчина, ей-богу!

— Вот так-то оно и вышло...

— А Седых не видал?

— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.

— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил.

Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.

— Хороший, — говорит Ширяев.

— Хороший. Сами делали. На Тракторном когда сидели. Там этого целлулоида знаешь сколько было?

— Здорово сделано. Неужели сами делали?

— Сами.

— А выцарапал на крышке кто?

— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.

— Здорово. У тебя только один?

— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный паренек был.

— Славный.

— Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот.

Ширяев еще наливает.

— Мне больше не надо, — говорю я, — у меня уже голова кружится.

Потом приходит Абросимов — начальник штаба полка. Бледный. Вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделывать, — полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили.

Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.

Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой, я с ними так и не попрощался.

Харламов протягивает руку.

— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам, — и смотрит на меня добрыми глазами.

Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь, даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.

— Уходите от нас, товарищ комбат?

— Ухожу.

Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.

— Заходите, не забывайте.

— Обязательно, обязательно, — говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.

16

Три дня я бездельничаю. Ем, сплю, читаю. Больше ничего. Новый блиндаж Лисагора великолепен — чудо подземного искусства. Семиметровый туннель — прямо в откосе. В конце направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратненько обшито досками: тоненькими, подогнанными, ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное, ампирное зеркало с толстощекимым амуром. В углу примус, печка-колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.

— Как боги заживем, — говорит Лисагор. — Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго.

Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то, во всяком случае, четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой.

Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым — ложку не повернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых «Красноармейцев» и наслаждаюсь чтением московских газет.

На земном шаре спокойно.

В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с

Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буа на Новой Гвинее и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн-Стэнли стали несколько более интенсивными.

В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска.

На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то — трудно понять с кем — воюют и даже пленных захватывают.

В Большом театре идет «Дубровский». В Малом — «Фронт» Корнейчука. У Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена»...

А здесь, на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и вода потечет? Странно...

И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — эта вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.

Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу.

По-прежнему летают на «Красный Октябрь» самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных «мессеров» обстреливает берег и «юнкеры» для разнообразия сбрасывают бомбы не на «Красный Октябрь», а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками.

Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега,

неизвестного для меня происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю... нет — пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами.

Подходит Гаркуша, усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы: останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные, хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ.

Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в ЭПРОНе, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья.

В разговоре он сдержан, но на вопросы отвечает охотно. От нечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов.

Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части, — ПНШ-1, по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.

Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.

— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль. — Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участни-

кам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли?

Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами.

— И вы мне поможете, Жорж. Правда? Рассчитывать на Абросимова или других, ему подобных, не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует.

И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.

Как сказать, может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и «Жорж», и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.

Над обрывом появляется вереница желтокрылых «юнкерсов». Скосив на них глаз, Астафьев делает грациозный жест рукой:

— Ну, я пошел... Формы совсем заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж, — и скрывается в своем убежище.

«Юнкерсы» выстраиваются в очередь и пикируют на «Красный Октябрь».

Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.

На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут.

17

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 — здоровенные шестикилограммовые ящики из необструганных досок, и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат — двести, кирок — тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные.

Все это богатство раскладывается на берегу против

входа в нашу туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.

Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг мы недосчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.

— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант... Ей-богу... А так никуда...

— Оправиться или не оправиться, нас не касается, — говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать. — А чтобы к вечеру все было налицо...

Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок — тридцать пять. Тугиев сияет.

— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы.

Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.

Он живет метрах в трехстах — четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый. По всему видать — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во-первых, во-вторых, в-третьих.

На столе в землянке гряда книг: Ушакова «Фортификация», «Укрепление местности» Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенький синий «Hütte».

Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия.





Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно разворачивает ее на столе.

— Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся, — количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал, даже первостепенную роль.

Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с набухшими веками, глазами.

— Восемьдесят семь лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что собратья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...

Он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.

— Как видите, — он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью «Исторические примеры», — работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.

Он пишет на листочке бумаги цифру «1» и обводит ее кружком.

— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль-ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах: *A* — вашими саперами, *B* — дивизионными саперами, *C* — армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут, саперами, *D* — стрелковыми подразделениями. Кроме того...

Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратах или совсем без оных.

Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутями в суставах.

— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1-б, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше тоже к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...

Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет.

— Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть-то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатую саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал — он не из Фрунзе? Не из Инженерной академии приехал?

18

Дни идут.

Стреляют пушки. Маленькие, короткоствольные, полковые — прямо в лоб, в упор с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботами — с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые — двухсоттрехмиллиметровые. Их возят на тракторах: ствол — отдельно, лафет — отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь, — его все в полку так и называют, — говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из «ишаков» по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.

Гудят самолеты — немецкие днем, наши «кукурузники» — ночью. Правда, у немцев тоже появились «ночники», и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. «За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то, за это время разрушено то-то и то-то...»

На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хворых, крутят деревянный барабан, изготавливают спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнемётчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.

Лисагор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка: то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо.

Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лопаты и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.

После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым, — во втором батальоне я чаще всего бываю, — в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист.

Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка.

На языке сводок все это вместе взятое называется: «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова «ожесточенный» и «тяжелый» дней десять уже не попадают в сводке, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова.

Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам

теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые рукавицы — мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пиджотов на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось.

Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными «Сов. секретно» и «Только Керженцеву» наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям — смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.

Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:

— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя.

С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.

— Мой все пишут, все пишут, — сквозь дверь доносится голос связного. — Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.

— А мой нет, писать не любят, — басит Валега. — Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.

— Ну, уж не больше моего, — обижается связной. — Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной, я сам смотрел, пятьсот страниц. И все мелко, мелко, без очков и не разберешь.

— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.

— Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.

Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

Иногда приходит к нам Чумак, он живет рядом, в десяти шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в «очко». Иногда мы с Лисагором к нему ходим — слушать патефон.

Время от времени приезжает с того берега Лазарь начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости — нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим, верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске.

Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт». Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника». Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.

19

Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону:

— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.

Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.

— Помнишь, — говорит Ширяев, — как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа?

Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был... — Он вертит кружку в руках.

— О чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?

— Да как тебе сказать...

— Можешь и не говорить. Знаю. Обидно было. Ужасно обидно. Правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого.

Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали.

— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже... Рассыпалось... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, — его батальон переправу там налаживал, — порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг — на «виллисе» майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на «виллисе» своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: «Какого черта не пускаешь! Танки немецкие в трех километрах! А тут порядки наводишь!» Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожка красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на «виллиса» и — хрясь! — раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы? А?

— Может, — отвечаю я.

Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается.

— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. — Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!... После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год ляжку тянем. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успеваешь. Ты как думаешь, Керженцев, успеваешь или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успеваешь.

— Успеваешь, думаешь? Ой, думаю, не успеваешь. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну, иногда там пистолетом пригрозить... Да и всех наперечет знаешь, — и каждый бугорок, каждую кочку сам лично обходишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступают. «Нет, не завидую я ему. Нисколько не завидую...» — Ширяев встает. — Сыграй-ка чего-нибудь, Карнаухов.

Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов.

— Что-нибудь такое... знаешь... чтоб за душу...

Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка. — В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.

Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни

всё русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах? Или вообще ничего на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает, — с таким отсутствующим, скупающим видом покуривает он под бомбежкой.

Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподымается на одном локте.

— Фарбер... Ты и до войны таким был?

Фарбер подымает голову.

— Каким таким?

— Да вот таким, какой ты сейчас.

— А какой я сейчас?

— Да черт его знает какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.

Фарбер чуть-чуть улыбается:

— Я не совсем понимаю связь между вином, и женщинами, и высшим образованием.

Дело не в связи. — Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. — Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов, — а и то как зайдет, так только держись.

— Да, в этой области я не силен, — отвечает Фарбер. Ширяев смеется.

— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться... А плавать ты умеешь?

— Плавать? Нет, не умею плавать.

— А на велосипеде?

— И на велосипеде не умею.

— Ну, а в морду давал кому-нибудь?

— Да что ты пристал к человеку, — вступается Кар-

наухов. — Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет.

— В морду давал, — спокойно говорит Фарбер и встает.

— Давал? Кому?

— Я пойду, — не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.

— Нет, кому ты давал?

— Неинтересно... Разрешите идти.

И уходит.

— Странный парень, — говорит Ширяев и встает.

Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.

— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал, мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть.

Ширяев еле заметно подмигивает мне.

— А может, то не письмо?

— А что же?

— Может, стихи.

Карнаухов краснеет.

— Ты чего краснеешь?

— Я не краснею, — и краснеет еще больше.

Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.

— Ну, а твои как?

— Что — мои?

— Стихи, конечно.

— Какие стихи?

— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеичатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь?

Карнаухов приперт к стенке.

— Да это так... От нечего делать.

— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.

Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся — он направо, я налево.

— А стихи все-таки прочитаешь, — говорю я ему, прощаясь.

— Когда-нибудь... — неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.

Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.

Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке.

Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.

— Кой черт курит?

— А отсюда все равно не видно, — отвечает из темноты глуховатый голос.

Голос Фарбера.

— Вы что здесь делаете?

— Ничего... Воздухом дышу.

Я подхожу ближе.

— Воздухом дышите?

— Воздухом дышу.

Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить.

— Сейчас концерт будет, — говорит вдруг Фарбер.

— Не думаю, — отвечаю я. — «Ишаки» у них уже два дня почему-то молчат.

— Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы, что ли?

— Должно быть, из Москвы.

Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины зараз нести. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю я.

— Ничего, — равнодушно отвечает Фарбер. — Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение...

— Юнцы желторотые?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да... — говорю я. — Невеселая штука война...

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает сигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.

— Жизнь или война? — спрашиваю я.

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем... собственно говоря, вы...

— Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.

Он медленно вдавливая окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног.

— Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?

— Ну?

— Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?

— Страусовский?

— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высывали головы из-под крыла.

— Расшифруйте.

— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче — вы знали, что будет война?

— Пожалуй, знал.

~~—~~ Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать.

Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.

— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС-34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.

— ВУС-34... ВВП... Командир взвода запаса.

~~—~~ Ни разу я еще не слышал, чтоб Фарбер так много говорил.

~~—~~ Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом — лагеря, муштра. Напра-во, нале-во, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.

— Откровенно говоря, мало.

— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей... Разве думали мы тогда об этом?

~~—~~ Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен. Но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым сигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего, и мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.

~~—~~ Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:

~~—~~ На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодцов — плотников, слеса-

рей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.

— В саперном, что ли?

— В саперном.

— А вы разве сапер?

— Сапер. Вернее, был сапером.

— А почему же вдруг стрелком стали?

— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.

— А я и не знал. Коллега, значит.

— Коллега, — улыбается Фарбер и продолжает: — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои «сидора», сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру...

Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.

— А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя — как говорит мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую — так уже заведено, ничего не поделаешь, — но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука...

Фарбер шарит по карманам.

— Чем прикуривать будем? — говорит он. — У меня спички кончились.

— И бычок погас?

— Погас.

— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.

— Придется.

И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным усталым голосом:

— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.

Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на кортсчки, один из бойцов высекает огонь из своего «кресала». Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.

Фарбер поворачивает голову.

— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо.

До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.

— Кто нытик? — спрашиваю я.

— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда?

Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав.

Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло. Анализировать прошлое, вернее — дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.

— По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете.

Фарбер смеется:

— Пожалуй, вы правы. — Пауза. — Но вы знаете... Если б я, например, встретился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.

— А вы завидуете?

— Завидую. — Опять пауза. — Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие.

— Вы склонны к самокритике, — говорю я.

— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.

— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?

— Почему?..

Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то, только очень далеко, за «Красным Октябрем», изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.

— Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...

Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость.

— Ничего, — говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом. — Всем тяжело на войне.

— Господи боже мой! Неужели вы так меня поняли? — Голос его даже вздрагивает и срывается от волнения. — Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите — всем тяжело на войне.

Я чувствую, что действительно сказал неудачно.

— У вас жена есть? — спрашиваю я.

— Есть. А что?

— Да ничего. Просто интересуюсь.

— Есть.

— И дети есть?

— Детей нет.

— А сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь.

А друзья у вас были?

— Были, но... — Он останавливается.

— Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.

— Ах, вы об этом...

— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили.

— Да, сегодня.

— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.

— Возможно... — И опять помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, мало интересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный.

— Напрасно вы так думаете.

— Вы у Ширяева спросите.

— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.

— Дело не в отношении. Впрочем, все это мало интересно.

— А по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел, — помните, там, на берегу, ночью, после высадки?

Фарбер останавливает меня движением руки.

— Стойте! — и касается рукой колена. — Слышите?

Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.

— Узнаете?

— Что-то знакомое... Страшно знакомое, но... Не Чайковский?

— Чайковский. *Andante cantabile* из Пятой симфонии. Вторая часть.

Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет — назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

— Вот это место... — говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену. — Точно вскрик. Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?

— Люблю.

— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.

И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице...

Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют «туберкулез».

— Странно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.

— Что странно?

— Все это... Чайковский, шинель эта, «туберкулез».

Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора.

Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера.

21

Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удастся — трещит эфир. Только — «и на нашей улице будет праздник» — разобрали.

Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях.

— Будет наступление, — авторитетно заявляет Лисагор; он обо всем очень авторитетно говорит. — Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз, — помнишь? — что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай...

Сталин выступал шестого ноября.

Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране. Десятого вступают в Тунис и Касабланку.

Одиннадцатого ноября в семь часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалон-сюр Саон и продвигаются к Лиону. В пятнадцать часов итальянские войска вступают в Ниццу. Двенадцатого ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе.

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два «Ю-87» в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги. И улетают. В воздухе воцаряется непривычная, совершенно удивительная тишина.

После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной, с семи утра до семи вечера, бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над «Красным Октябрем». Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только «рама» с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да «месеры» иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.

Ясно — немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии — отчего, почему и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники нарасхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку в штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка, сюда!», «Сенечка, к нам!» Его так все и называют — «Сенечка». И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:

— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все — «Сенечка». Не годится так.

А он только улыбается смущенно.

— Ну, что я могу поделать. Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.

Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул.

— Работает как дьявол... Ну как на него рассердишься?

Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а они трубу под мышку — и в другое место. Потом лис-

товками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем не плохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: «Стреляйте в меня!»—и вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на «ничейной» земле, между нами и немцами. Те рассвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали: «Ай да Сенечка!» Очень любили его бойцы.

К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда оно наконец пришло, целый день на КП первого батальона — он там чаще всего бывал — строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов («а у нас все по-прежнему, воюем понемножку»), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились: что-то около ста подписей получилось.

Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы.

— И когда же это учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на Северный фронт, кажется, попал.

22

Девятнадцатого ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже — вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко.

На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают.

Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженое белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту — озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого-то ищет. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.

Под вечер я ухожу к Устинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто «предлагает», потом «приказывает» и, наконец, «в последний раз приказываю во избежание неприятностей». Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, верденами, порт-артурами, тотлебенами и клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю.

Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан», щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят — «полковая летит» или «из ста пятидесяти двух начали». О себе иначе не говорят, как «мы — фронтовики, у нас на фронте».

Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем не плохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам.

Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержанно: замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку, — все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами.

Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он подымает глаза и взглядывает на меня поверх очков.

— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?

— Каких событий?

— Как? Вы ничего не знаете? — брови его недоумевающе подымаются. — КСП вам ничего не сказал? — «КСП» на его излюбленном языке донесений — это «командир стрелкового полка», в данном случае майор Бородин.

— Нет, не говорил.

Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный аккуратно отточенный карандаш с наконечником.

— Сегодня в шесть ноль-ноль мы переходим в наступление.

Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.

— Какое наступление?

— Наступление по всему фронту, — медленно, смакуя каждое слово, произносит он. — И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит?

Пока что мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается.

— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, — продолжает он, — овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В четыре тридцать начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок, каких-нибудь десять часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роги с целью инженерной разведки и разминиро-

вания полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.

Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.

— Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному, — вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесения о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным.

Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки.

Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает, — договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.

Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.

— Как тебе это нравится? А? Лейтенант?

От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.

— Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет — мало этого! Делай проходы, убирай Бруно... Все, вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?

Меня начинает раздражать Лисагор.

— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.

Лисагор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка.

— Но обидно же, господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит!

Стол действительно неузнаваем. Посредине четыре уже раскупоренные поллитровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья

«Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мяса.

— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?

Что и говорить — куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь — оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали... Вот и пришел он наконец, этот день...

Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.

Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов.

Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться — комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.

— Ну что, инженер, сорвалось?

— Сорвалось...

— Ладно. В буфет спрячь. Вернемся — поможем, — и весело хохочет, сверкая глазами.

Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новый КП командиру полка сделать. Старый не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.

— Смотри, инженер, не подкачай, — попыхивает трубкой Бородин, — картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь...

Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — коробки никуда не годятся.

— А НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль-ноль — минута в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай нажимай.

Я ухожу.

Лисагор сидит и меняет портянку.

— Ну?

— Бери отделение, и к пяти ноль-ноль чтоб новый НП был готов.

— Новый? К пяти? Обалдели они...

— Обалдели не обалдели, а в твоём распоряжении семь часов.

Лисагор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.

— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее. Вот тебе и левее.

— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не каинителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?

— Все понятно. Чего же непонятно. И рельсы, конечно, велел положить? Да?

— И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.

— А дощечками тесаными не приказал обшивать?

— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Новохатько с отделением.

— У него куриная слепота.

— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.

— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.

— Как знаешь. К пяти чтоб НП был готов.

Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.

— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдагская...

И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит.

Я остаюсь ждать дивизионных саперов.

К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти непрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край.

Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кричат, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.

Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адьютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох, маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.

Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.

— Смотри на часы, инженер.

— Двадцать минут пятого.

— Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?

Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.

— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо, и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толком на части — и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стало. Курортник что надо — Сочи, Мацеста...

— Накатов сколько положил?

— Рельсов два, да старый еще, деревянный был.

— Бугор получился?

— Да тут их, знаешь, сколько бугров? Что ни шаг, то землянка, а что ни землянка, то бугор.

— Раненых нет?

— Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой!.. Началось, что ли?

Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать.

— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор. — Прицельно-пять, по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили.

Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, целяются друг за друга винтовками и лопатами.

— А где Тугиев?

— Там еще. Наверху.

— Видал? Песочком посыпает. Красоту наводит. Давай его сюда, Седельников. Снарядом голову еще сорвет.

Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.

Лисагор толкает меня в бок.

— Ну что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит.

Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.

Только они уходят, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит: сердце, вероятно, не в порядке.

— Ну как, инженер, не угробят нас здесь? — добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.

— Думаю, нет, товарищ майор.

— Опять — думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое «думаю». Рельсы положил?

— Положил. В два ряда.

Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.

— А где Лисагор твой?

— Отдыхать пошел. С людьми.

— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...

Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.

— А остальные где?

— По батальонам.

— Что делают?

— Проходы.

— Проверял?

— Проверял.

— А дивизионные что делают?

— В разведке.

— Почему вчера не разведали?

— Потому что сегодня приказ получили.

Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

— Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.

Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой.

— Хорошо работают, — говорит майор.

Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить, хорошо... — принужденно улыбается начальник разведки. — Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.

Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.

Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин-эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.

Абросимов не отрывается от трубки.

Неужели немцы удержатся после такой подготовки?

Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь.

— Брось подкидывать, — говорит связисту майор. — Рассветает, по дыму стрелять будут.

Связист отползает в свой угол.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти.

Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться!

Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов.

Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли, ядри вашу бабушку! — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.

Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.

Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а...

Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.

Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта...

Абросимов звонит во второй, в третий батальон. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.

Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекающее, усталое.

— Полтора часа громыхали, и не взять.. Живучие, дьяволы.

Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.

— Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?

Смотрю. Человек двенадцать лежит. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно.

Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь.

— Керженцев, — совсем тихо говорит майор.

— Я вас слушаю.

— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помогии... — и посопев трубкой: — Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и сечите им во фланг.

Я поворачиваюсь.

— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.

— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.

— Возьмем! — неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове. — И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает.

Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит.

— Подыми их, подыми! Залежались!

— Да ты не кипятись, Абросимов, — спокойно говорит майор и машет мне рукой — иди, мол.

Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где тогда сидели в окружении.

— Как дела?

Ширяев машет рукой.

— Дела... Половины батальона уже нет.

— Перебили?

— А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь!

— А что?

У Ширяева на шее надуваются жилы.

— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие...

— Знаю. Ну?

— Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов. И — бац! Звонит Абросимов — никаких проходов, в атаку веди. Объясняю, что там пулеметы... «Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся».

— А у тебя сколько народу?

— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси... Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони.

— А майор в курсе дела?

— Не знаю.

Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться.

— Ну, что теперь делать? Половина перебита, половина до вечера проваляется, — не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...

Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскрикивает, хватается за плечи и трясет меня.

— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас за Карнауховым и Фарбером... Эх, как бы людей из воронок выковырять!

Хватает шапку.

— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь — на передовой. Понял? Это — если Абросимов позвонит.

Лешка понимающе кивает головой.

Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.

— Ушли, товарищ капитан. Только что ушли. Да, да, оба. Пришли и ушли.

Прикрыв рукой микрофон, смеется.

— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.

Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединятся с немецкими — на сопке в двух и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин.

Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.

— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по десять человек на проход пустим. Не так уж плохо. А?

Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.

— Карнаухова и Фарбера по сопке пушу, а сам по оврагу.

— А управлять кто будет?

— Ты.

— Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.

— Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй.

— А ты Сендецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.

— Сендецкого? Молод все-таки. Впрочем...

Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.

— Елки-палки... Лезет уже.

— Кто?

По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.

— Ну, теперь все...

Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.

Абросимов еще издали кричит:

— Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?

Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.

— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?

Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.

— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу...

— Думаем, — спокойно отвечает Ширяев.

— Тогда воюйте, черт вас заберит... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я, как мальчик, бегай...

— Разрешите объяснить, — все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев.

Абросимов багровеет:

— Я те объясню... — Хватается за кобуру. — Шагом марш в атаку!

Я чувствую, как во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты.

— Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду!

В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.

— Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете, — стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.

Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.

— Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним...

— В армии не договариваются, а выполняют приказания, — перебивает Абросимов. — Что я вам утром приказал?

— Керженцев только что подтвердил мне...

— Что я вам утром приказал?

— Атаковать.

— Где ваша атака?

— Захлебнулась, потому что...

— Я не спрашиваю почему... — И, вдруг опять расвирепев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!..

Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.

— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать... Траншеи какие-то придумали себе. Три часа как приказание отдано...

Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.

24

Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-

то через меня перескакивает. Обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет. Он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть.

Никто уже не кричит «ура».

Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно, она сразу бросается в глаза.

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо.

Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой, дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.

Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.

Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.

Лежу затаив дыхание. Рядом кто-то стонет: «А-а-а-а...» Больше ничего, только «а-а-а...» Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли, я ничего не вижу. Сверху — серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег, у меня мерзнут пальцы на ногах.

Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все

еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Сендецкий и я. И еще один, ксмандир взвода, из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.

Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке.

От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть, из воронки я боюсь высываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище.

Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.

Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня — черная полоска амбразуры.

Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть, меня не увидят.

До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним согнувшись, видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.

Всего я насчитываю четырнадцать групп. Некото-

рые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.

Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем уже тихо.

Не отрываю от него глаз. Не знаю, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой.

Он совсем уж рядом. Рукой можно дотянуться.

— Давай, давай сюда, — шепчу я и протягиваю руку.

Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутой глаза. Харламов... Мой бывший начальник шгаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то оупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые.

— Давай, давай сюда...

Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.

С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.

Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только: «Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...» Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.

Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.

Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег,

не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подымаю воротник.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой.

Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с не тающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно лежать так? Может, просто вскочить и побежать? Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек.

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь—десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...

Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

... Работа меня немного согревает. Укладываюсь на

левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнбойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы... Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане.

Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы тоже нет.

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.

Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко, они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.

Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — та же женщина, только одна и в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано: «Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура».

Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.

Маленький комочек глины ударяет меня в ухо.

Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподымаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое, небритое лицо.

— Браток... Спички есть?

— Есть.

— Кинь, бога ради...

— «Сорок» оставишь?

— Ладно.

Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.

— Поосторожней... — шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.

Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслоненным окурком внутри. Я его сосу, сосу что есть мочи. Все губы обжигаю.

— Боец! Часов нет у тебя? — спрашиваю я шепотом.

— Без четверти двенадцать, — доносится из воронки.

Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.

Надо бежать. Ждать еще шесть часов! Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься.

Из воронки опять хрипит:

— Друг... э-э-э... друг...

— Что тебе?

— Давай побежим.

Тоже не выдержал.

— Давай, — отвечаю я.

Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом.

— Ну, готов?

— Готов.

Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Руки на животе. Ему уже ничего не нужно.

— Пошел!

— Пошел.

Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу же: «та-та-та-та-та...» Не дышу. «Та-та-та-та...» Лежу. «Та-та-та-та-та-та...»

— Жив?

— Жив.

Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.

Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.

Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.

— Ну — пора.

— Приготовьсь, — не подымая головы, в снег говорю я.

— Есть, — отвечает слева.

Я весь напрягаюсь. В висках стучит.

— Давай!

Отталкиваюсь. Три прыжка и — в окопе.

Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок.

Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — десять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.

Утром мы хороним товарищей — Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб.

Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.

Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.

Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.

Мы хороним товарищей над самой Волгой.

Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало.

Темнеют три ямы.

Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.

Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнбойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.

И это все. Мы уходим.

Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.

Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он сам был.

...Ты от этой землянки низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такую видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой.

Вижу, как шевелятся ветви,
Молодой шумит березняк,
Как твоими косами ветер
Оплетает, вяжет меня.

Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.

В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него — не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.

Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.

Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрал ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.

— Судить, говорят, Абросимова будут, — мрачно говорит он.

— Кто сказал?

— Писарь Ладыгин слышал.

— Брехун...

— Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.

— Ты что, в штабе был?

— В штабе.

— Что там?

— Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо остро держать. Чернильная душа.

— Майора не видел?

— Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.

— Эх... напиток бы сейчас... До чертиков...

Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.

— Подготовься к завтраму, инженер.

Я не понимаю.

— К чему?

Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.

— К чему? — повторяю я.

Он медленно поднимает голову.

— Расскажешь того... как это все было... там, на сопке, — и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.

Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно.

Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.

— Связой его на продскладе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его — всё карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.

И он подмигивает наглым зеленым глазом.

25

На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона — это самое просторное помещение на нашем участке — накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.

Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.

— Нельзя на войне без доверия, — говорит он, — мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя...

Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.

— С Абросимовым мы прошли большой путь... Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учится, знал, что может ошибки делать, — кто из нас не ошибался, — но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба.

Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.

— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. — Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. — Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, — это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.

— Приказано было атаковать баки... — сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. — А люди в атаку не шли...

— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана. — Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло... Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Широков — парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал?

У Абросимова начинает подергиваться губа.

Обычно добродушное, мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся.

— Я знаю, как ты кричал там.. Как пистолетом размахивал.— Он отпивает еще глоток чаю из стакана.

— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Всё. По-моему, достаточно.

Майор тяжело опускается на табуретку.

Абросимов как сидел, так и сидит, — руки на коленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет.

Говорят еще несколько человек. Потом я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, трусили.

— Трусили?.. — раздается откуда-то из глубины трубы.

Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой, смешной шинелишке своей, протискивается к столу Фарбер.

— Трусили, говорите вы? Ширяев трусил? Карнаухов трусил? Это вы о них говорите?

Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами — очки он вчера разбил, — щурится.

— Я все видел... Собственными глазами видел... Как Ширяев шел... И Карнаухов, и... все как шли... Я не умею говорить... Я их недавно знаю... Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю... — Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой.— Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...

Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:

— Вы сами трус! Вы не пошли в атаку! И меня еще при себе держали. Я все видел... — И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.

Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе.

— Хорошо говорили, Фарбер.

Он вздрагивает:

— Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет... Нет. Не то все это.

Он тяжело дышит.

— Последних моих двух стариков убило, Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был.

— А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был?

— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл— все рассказывал, как манной кашей их там закармливали.

— Новых командиров не прислали еще?

— Командиров роты из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адъютанта старшего пока нет.

— Без адъютанта трудноато, — соглашаюсь я.

Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие-то новые, твердые нотки. Их раньше не было.

— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?

— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталась, как тряпка.

— Правая?

— Нет, левая...

— И то хорошо...

— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с Абросимовым хоть на краю света, а встречаюсь.

— Не завидую Абросимову, кулачок у Ширяева — дай бог...

Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.

Валега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар.

Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком сгущенным.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.

Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.

— Ну? — спрашиваю я.

— Разжаловали и — в штрафную.

Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.

Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слышал.

26

Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных и перелатанных «тридцатьчетверок». Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселей становится.

Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходит же всего шесть видавших виды старушек, и не из тыла, а с «Красного Октября», где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника... И вид у них довольно грозный...

К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне посмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.

Трое танкистов заходят ко мне погреться—два лейтенанта и сержант, — черные, грязные, промасленные с головы до ног.

— Поесть ничего нет? — спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом — обгорел, должно быть. — С утра во рту ничего не было...

Валега подает на стол остатки именинного зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки.

— Ну как? Воюете? — спрашивают.

— Воюем понемножку, — отвечаю я.

— Баков до сих пор не взяли?

— Баков не взяли. Голыми руками не очень-то...

Танкисты пересмеиваются.

— На нас надеетесь?

— А на кого ж? Без техники все-таки...

Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.

— А знаешь, где эта техника только не перебивалась?

— По машинам видно, что поработали основательно.

На Юго-Западном были?

— Ты спроси, где мы не были.

— Под Харьковом были?

— Под Харьковом? А ты что, был там?

— Был.

— Непокрытую, Терновую знаешь?

— Еще бы. Мы там в наступление шли.

— Тоже мне — шли... Из-за вас, пехтуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?

— Весь. Шкура только осталась.

— Жаль. А то спирт у нас есть...

— А мы сообразим чего-нибудь.

Я посылаю Валегу к Чумаку.

— Скажи, чтоб приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту?

— Хватит. Не беспокойся.

Валега уходит. Сержант тоже.

— А вы как боги живете, — говорит лейтенант со шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркала. — Как паны...

— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.

— И книжечки почитываете.

— Бывает.

Он перелистывает «Мартина Идена».

— Я уже и не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился, — и смеется. — После войны придется заново учиться.

Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух.

— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.

Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.

— Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит.

Смотрит на танкистов.

— Ваши коробки на берегу?

— А чьи же?

— Я б и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся — рассыплются.

Бородатый обижается.

— А это уж наше дело.

— Конечно ж, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.

— А ты кто?

— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.

— Разведчик, должно быть... По морде видать.

— По какой морде? — Чумак сжимает кулаки.

— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?

— А что? Ваш?

— Наш.

— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять...

Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.

— Куда же это Приходько запропастился?

— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий, девяносто шесть.

— За водой остановки не будет. Волга под боком.

— Вы что — завтра в атаку? — спрашивает Чумак.

— Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим.

— Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.

— Скажут еще.

— Если не завтра,—задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак,—немцы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают...

— Там, говорят, склон, не видно будто.

— Говорят, говорят... А «мессеры» зачем?

— А противотанковой артиллерии много у них? — настораживается бородатый.

— На вас хватит.

В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.

— Какой дурак у вас там лопаты раскидал. Чуть все фляжки не пококал.

Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый.

— Что мне за новость будет?

— Какую новость?

— Мировую. Скажите, что будет, — расскажу.

— Сто грамм лишних, — морщится Чумак, пробуя спирт на язык. — Силен, черт...

— Мало.

— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.

Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.

— Ну — что за новость? — спрашивает лейтенант со шрамами.

— Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передачу только что слушал.

— Гитлер сдох, что ли?

— Почище...

— Война кончилась?

— Наоборот. Началась только... — и, выдержав паузу: — Наши Калач заняли. Потом эту, как ее, Кривую... Кривую...

— Кривую Музгу?

— Музгу... Музгу. И еще что-то на Г...

— Неужто Абганерово?

— Вот, вот... Абганерово...

— А ты не врешь?

— Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!

— Елки-палки!..

— Когда же это?

— Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.

— Ну, все. Фашистам капут!

Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.

— За капут, хлопцы!

И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.

— Вот дела! Вино хлещут...

В дверях Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.

— Я там вагоны рву, а они водку дуют.

Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза. Крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.

— Разлагаетесь здесь, а в пять наступление. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.

— Врешь...

— Посмотрите, что на берегу делается.

Танкисты срываются, не дожевав колбасы.

— Ширяев ругается, что с проходами задерживаем.

— Какой Ширяев?

— Как — какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.

— Господи... Откуда ж он взялся?

— Всю войну так прозеваете... — смеется Лисагор. — Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там на берегу.

Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.

— Проходы сделал?

— Сделал.

— На всю ширину?

— На всю. Как миленькие проедете.

Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый. Опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то:

— Чтоб через пять минут пришел и доложил... Понятно? Раз-два...

Пробегают Чумак, застегивая на ходу бушлат.

— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...

Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.

— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там проходы ваши...

— Как рука? — спрашиваю.

— Потом, потом... Топай... Два часа осталось

— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?

— Топай... А Лисагора ко мне...

Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблук, руку от козырька отрываю с первым шагом.

— Отставить! Два часа строевой...

Холодный крепкий снежок вlepляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.

Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу.

Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют — танки неистово громяют.

Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.

Громоздой тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган.

До наступления осталось час сорок минут.

27

Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегает запыхавшийся Гаркуша.

— Товарищ лейтенант...

— Ну, чего еще?

Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.

— Разведчики вернулись.

— Ну?

— На мины напоролись.

— Какие мины?

— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие-то незнакомые.

— Тьфу ты, черт! Чего же они вчера смотрели?

— Говорят, не было вчера.

— Не было?.. Где этот... Бухвостов?

— В петезровской землянке сидит.

— Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас.

Бухвостов, рябой, шупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками:

— Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...

— Ей-богу, ей-богу! Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?

— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку.

— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты... поведешь.

На наше счастье, луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблуки. Проползаем за линию наших минных полей. Кругом белым-бело. Темнеет впереди линия немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза! Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояла. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик.

Гаркуша, лежа на животе, ловко один за другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.

«Пш-ш-ш-ш...» Ракета...

Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидят, сволочи.

«Пш-ш-ш-ш...» Вторая... Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров за десять. Ну, что за человек! Сейчас увидят немцы.

Короткая очередь из пулемета.

Увидели.

Опять очередь.

Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно... Хрустит на зубах... Как мороженое... А он говорил, что не помзы... Самые обыкновенные помзы... Только колышек сбоку. Чудак сержант. Все... Больше ничего... Только снег на зубах...

«Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ей-богу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю — разжирел, мол, на госпитальных харчах, с санитарками романы разводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какую.

А вообще надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело. Другие наступают, вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь... После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать, и немецкий комдив, вероятно, то же самое решил, вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выходило — в батальонах по пять-семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари и концентрат «кукурузники» сбрасывали.

В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к звездочке представил — молодцы хлопцы, а остальных — к отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет, — сечет немцев направо. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает, вот в чем заваyka. Артиллерией в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионков поставили, спать

не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули, в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом. «Красный Октябрь» почти полностью очистила.

Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в штрафной. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на mine, оторвало ступню. И троих еще отправил в медсанбат, из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. «Любимцу» твоему с бакенбардами, Астафьеву, немцы вlepили осколок прямо в задницу (как он его поймал, никак не пойму, — из землянки он не вылез), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.

А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. Штук пять уже сделали — все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали — около химзавода, где синьки много. Другой — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — холодно, сквозит, велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз «ФД» стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.

А в общем, приезжай скорей, вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня такие уже волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, дивинженер, плотно поселился в моих печенках — все схемы да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука у него совсем прошла.

Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем,

Твой А. Лисагор

Р. С. Нашел наконец взрыватель «LZZ» обрывнона-тяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция — мины «S» и «ТМІ-43», есть совсем новенькие, пять типов взрывателей в мировых коробочках (на порт-табачницы пойдут) и замечательная немецкая зажига-тельная трубка с терочным взрывателем.

А. Л.»

На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущими вниз буквами:

«Добрый день или вечер, товарищ лейтенант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтенант, книги ваши в порядке, я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря, и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтенант Шыряев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтенант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются, и я тоже.

Ваш ординарец А. Волегов».

Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду: он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтобы новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран.

Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.

Они провожают меня до ворот.

— Паулюсу там кланяйся!

— Обязательно.

— Мое поручение не забудь, слышишь?

— Слышу, слышу.

— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где «катюша» подбитая стоит.

— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.

— Ладно... Всего... «Следопыты» в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.

- Есть — привет.
- Ну, бувайте.
- Пиши... Не забывай...
- Шофер уже машет рукой:
- Кончай там, лейтенант.
- Я жму руки и бегу к машине.

29

До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь — начфин. У него и ночью в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке.

- Ну, как там, в тылу? — спрашивают.
- Обыкновенно...
- Ты в Ленинске лежал?
- В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.

Лазарь смеется.

— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота!

- А ты давно оттуда?
- Вчера только вернулся. Жалованье платил.
- Сидят еще немцы?
- Какое там! С Мамаева уже драпанули, за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем...

Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок.

Рано утром на штабном «газике» еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне... Фу ты черт, как время летит! Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, «виллисы», пестрень-

кие, камуфлированные «эмочки». Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

— Ваши документики.

— А без них нельзя, что ли?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен.

Вот это да. Вокруг чуйковского штаба проволочный забор, у калиток часовые по стойке «смирно», дорожки посыпаны песком, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике: «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано: «Первый переулоч налево». Переехали, значит. Переулоч налево, по-видимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь. Ей-богу, волнуясь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь.

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли, — никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже по откосам лазить. Совсем культура, даже перила гесаные.

Над головой проплывает партия наших «петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют...

— Вот это да — черт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин в снегу: Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок, узнаю, Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать немцев — грязных, небритых, обмотан-

ных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает.

— Живы, здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая, румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза. Седых!.. Провалиться мне на этом месте!.. Седых!..

— Откуда ты взялся... черт полосатый?!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух летит. Наше КП тут же в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь.

— А Игорь?

— Жив-здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня к нам. Ох, и рады же будут!.. А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет — возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой!.. А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

— Ну и негодяй!.. И молчит. Дай лапу. За что получил?

Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.

— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?

— Да чего ж стыдиться-то... — И все ковыряет, ковыряет ладонь. — А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или...

— Как же, как же. Вот он, закуривай.

И мы закуриваем.

— Огонь есть?

— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер... Или как там, по-вашему...

Щупленький немец в роговых очках,—должно быть, из офицеров, — моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком.

— Битте, камрад.

Седых перехватывает зажигалку.

— Ладно, битый, сами справимся, — и подносит огонь. — Ох, и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же — зажигалку. У меня уже штук двадцать их. Дать парочку?

— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.

— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же... — И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую... Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении торчали две недели в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили...

— В общем, сами знаете... — и улыбается своей ясной, славной улыбкой.

— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?

— Да там все... На передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался — хромой.

— И никого больше?

— Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке. Раненый.

— Астафьев, что ли?

— Ей-богу, не знаю. Старший лейтенант.

— В той землянке, говоришь? — И я направляюсь к землянке.

— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант, — кричит вдогонку Седых. — Игорю Владимиро-

вичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.

Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон.

— Жорж! Голубчик! Вернулись! — Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку. — Здоровы, как бык?

— Как видите.

— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесения пишу.

— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.

— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте. — Он пытается повернуться, но морщится и ругается. — Седалищный нерв задет, боль адская.

— Война, ничего не поделаешь. А где наши?

— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь.

— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?

— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные... — Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.

— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.

— Трофей. Ширяеву Чумак подарил. Там их, знаете, сколько!

— Ну, ладно, я пойду.

— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.

— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Астафьев улыбается.

— Трофеи боитесь прозевать?

— Вот именно.

Астафьев приподымается на локте.

— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю.

— Ладно.

— «Лейку» лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего «феда».

— Ладно.

— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...

30

К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк! Тот самый, чумаковский, шесть звездочек.

Чумак наливает стакан за стаканом.

— Пей, инженер, пей! Отучился небось за четыре месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалей... Заслужили!

Мы лежим в каком-то разрушенном доме, — не помню уже, как сюда попали, — я, Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе, Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов — шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится! И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые.

— Я вам хромовые там достал, — мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. — В блиндаже... Подъем только низкий...

Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.

— Пей, пей, инженер, — подливает все Чумак, — не стесняйся...

Лисагор перехватывает кружку.

— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в Тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.

И я налегаю.

Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба «Красного Октября», единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет. И стрельба. Целый день

сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадет. «Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та...»

Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленые подряд.

Чумак что-то говорит. Я не слушаю его.

— Отстань.

— Ну, что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.

— Отстань, говорят тебе, чего пристал.

— Ну, прочти... Ну, что тебе стоит. Хоть десять строчек...

— Каких десять строчек?

— Да вот. Речугу его. Интересно же... Ей-богу, интересно.

Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты.

— Что за мура?

— Да ты прочти.

Буквы прыгают перед глазами, непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиогский козырек.

«Фелькишер беобахтер». Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года.

Почти три месяца тому назад...

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.

Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики...»

Чумак весь трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по-писаному вышло.

Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что «почему»?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбили нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему, почему. А я немножко того, прогуляюсь.

Я встаю и, шатаюсь, выхожу в огверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.

Какое высокое, прозрачное небо — чистое-чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в одном только месте, против водокачки, не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.

Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...

Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый. И, точно прыщи, два прыща на макушке — баки... Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами, — только стены как решето остались, — начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер опросят меня — почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню толь-

ко лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и-пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленный такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди... Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай. Давай, давай... Пей, оруженосец!.. Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали... Кирпич, и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики, ей-богу... Давай выпьем за них, — есть там еще чего, Чумак?

И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке «Барыню».

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

— Чего там еще?

— Начальник штаба вызывает.

— А ты кто такой?

— Связной штаба.

— Ну?

— Велено всех к восемнадцати ноль-ноль собрать. На КП в овраге...

— С ума спятил!.. Какого лешего. Сегодня выходной, праздник.

— Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, я и передал.

— Да ты толком объясни. А то — приказал, передал... На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы?

Связной смеется:

— Северную группировку, слышал, завтра будут доканчивать на «Баррикадах». Нашу и Тридцать девятую бросают туда.

Вот те на!..

Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.

— Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два...

Валега срывается.

— Лопаты чтоб не забыл, смотри, — и повернувшись ко мне: — Ну, что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.

— Лопат хватит?

— Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна... Пошли.

На улице слышен зычный чумаковский голос:

— В колонне по четыре... Стр-р-роевым. С места песню... Ша-а-агом марш!

А во взводе у него всего три человека.

Лисагор хлопает меня по плечу.

— Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.

Где-то высоко-высоко в небе тарахтит «кукурузник» — ночной дозор. Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». Наши «фонари», не немецкие.

Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу:

— Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят.

И весело, заразительно смеется.

1946

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ГЛАВЫ

Предлагаемые читателю главы из повести «В окопах Сталинграда» написаны были почти 23 года назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести (кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана — глава 26-я), я отпечатал их на машинке и приступил к 3-й части — к танковой атаке и последовавшим за ней событиям.

Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу-москвичу отпечатанный текст — пусть отвезет в Москву, покажет кому-нибудь, авось...

За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в «Знамя». Всеволоду Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием: не канителиться с 3-й частью, а тут же, в Москве (я приехал из Киева), срочно написать концовку и сразу же — в типографию. Так родились последние четыре главы.

Публикуемое ниже — начало несостоявшейся третьей части.

Автор

Чертova «Семерка»

1

Все начинается с танка — одного из тех шести, которые с вечера прибыли в наше расположение, — вымазанного в белую краску, танка с черной корявой цифрой «7» на боку.

Рассчитали как будто правильно. На участке 1-го батальона в минных полях сделали три десятиметровых прохода, габариты отметили колышками. Расположение

немецких минных полей, вернее отдельных заминированных участков, перенесли на соответствующие карты, и лично каждому командиру танка показали путь следования...

По плану наступление начинает второй батальон. Задача его — привлечь к себе внимание противника. Одновременно через три прохода двинутся танки с десантами по четыре человека на машине. Задача — смять огневые точки противника и выехать в тыл водонапорным бакам. За танками — пехота — первый батальон. Артподготовки никакой. Все на неожиданности.

Как будто неплохо.

Ровно в 5.00 второй батальон начинает свою демонстрацию. Немцы сосредоточивают на нем огонь. Ширяев дает сигнал танкам. Они благополучно переползают через маскировавший их вал и въезжают в проходы.

Тут-то и подрывается первый, левофланговый танк с цифрой «7». И черт его знает на какой mine. В самом неожиданном месте — метрах в двадцати от наших минных полей. Подрывается и останавливается как вкопанный. Следующий за ним второй танк делает крутой поворот вправо и прямо въезжает в наше собственное минное поле № 11 - бис — самое дьявольское из всех, смешанное из противотанковых и противопехотных мин. И тоже подрывается. Растерявшиеся десантники соскакивают на землю, на «мышеловки» — ПМД. Двое взлетают на воздух...

Этого достаточно. Десантники первого танка бегут назад. Танки второго прохода, заметив суматоху, останавливаются, открывают беспорядочный огонь, тоже пятятся назад. Только два танка третьего прохода едут прямо на баки и скрываются за ними.

Немцы открывают бешеный огонь.

В итоге — баки остаются у немцев, мы не продвигаемся ни на метр, два танка подбиты, три вернулись, один пропадает без вести где-то за баками. Убитых — восемь, в том числе весь экипаж первого танка, раненых — двенадцать. Второй батальон откатывается назад. Полный провал...

Танкисты матерятся:

— Всегда так с пехотой... Натыкают своих мин где только влезет и кричат «танки вперед!» Инженеры тоже называются...

Ширяев бледен, повязка сползает на брови, на меня не смотрит.

И откуда там мина взялась, черт бы ее подрал? Сам Гаркуша, парень, на которого во всех отношениях можно положиться, делал первый проход... То, что это не немецкая и не моя, — я ни минуты не сомневаюсь. Значит, дикая, оставшаяся от дивизий, сражавшихся здесь до нас еще. Но ведь все дикие мины сняты и обезврежены. Неужели прозевали? И нужно же было именно этой остаться и как раз на линии первого прохода...

Бородин, командир полка, — сух, даже садиться не предлагает.

— Спасибо, Керженцев, помог... На старости лет самому по передовой на брюхе ползать придется, мины твои проверять... Пойдешь к комдиву. Вызывает тебя...

Входя в блиндаж к комдиву, я чувствую, как начинает сильнее биться сердце. Полковник сидит спиной, подперев голову руками. Читает что-то при свете лампы. Блиндаж жарко натоплен. В углу на кровати адъютант в голубой майке подшивает подворотничок.

— Полковой инженер 1147-го полка лейтенант Керженцев прибыл по вашему приказанию.

Полковник медленно поворачивается, отодвигает рукой лежащую перед ним пачку бумаг. Смотрит на меня долго, не мигая. С тех пор как он был у меня в батальоне, я его ни разу не видел. За это время он еще больше похудел, и при боковом свете лампы особенно остро выделяются кости его лица.

— Полковой инженер, говоришь? — тихо спрашивает он, не отрывая глаз от меня.

— Полковой инженер, товарищ полковник.

— 1147-го?

— 1147-го...

— Работы у вас там, вероятно, много, в 1147-м полку?

— Много, товарищ полковник.

— Минные поля, что ли?

— И минные поля тоже, товарищ полковник.

— И хорошие минные поля?

Я чувствую, что начинаю краснеть. Полковник не сводит с меня глаз.

— Я тебя спрашиваю, хорошие минные поля у вас?

— Обыкновенные...

— Обыкновенные? А вот по-моему, не совсем обыкновенные... Много на них немецких танков подорвалось?

— Нет.

— Сколько же?

— Ни одного. Они не пускали танков.

— Не пускали, говоришь... А мы пускали?

Мне хочется провалиться сквозь землю.

— Пускали.

— И что ж?

— Два подорвались, товарищ полковник...

Полковник встает, подходит ко мне.

— А знаешь ли ты, что эти шесть танков — все, что есть сейчас на этом берегу? Знаешь ли ты, что Чуйков их специально снял с «Красного Октября», чтоб помочь нам овладеть баками, и что послезавтра они должны быть опять там, в 39-й дивизии? Знаешь ли ты все это?..

Я молчу.

— Знаешь ли ты, что баки для нас сейчас все? Что это ключ ко всему городу? Что каждый день пребывания немцев в них — это лишние жертвы, лишние снаряды, лишние...

— Я все это знаю, но ведь по моей вине подорвался только один танк, и только за это я несу ответственность, а не за провал всего наступления...—Черт его знает для чего, но я все это говорю полковнику.

— Только один? — перебивает он меня, и бледное, худое лицо его становится вдруг красным. — Только один? А этого мало? Один танк. Нет, не один... а шестая часть всех действующих танков на этом берегу... И весь экипаж... Только один...

Он вынимает из кармана папиросу, разминает ее пальцами, она рвется, он выкидывает ее, вынимает другую и прикуривает от лампы. Делает несколько быстрых, коротких затяжек. Опять смотрит на меня.

— Так вот, я тебе приказываю вернуть эти танки. Понятно? Те два, что подорвались.

— У переднего моторная группа повреждена, товарищ полковник. Собственным ходом не выйдет.

Полковник останавливается, до сих пор он ходил из угла в угол.

— Эх, инженер, инженер... — он укоризненно смотрит на меня. — А у второго как с моторами?

— Когда я уходил, благополучно было.

— Так вот... За ночь поможешь танкистам выбраться из мин. А тот, застрявший, в ДОТ преврати. Любыми средствами. Ясно? Под твою личную ответственность.

Я козыряю.

— Можешь идти.

Я ухожу.

Превратить танк в огневую точку, в ДОТ... Но для этого его надо сначала захватить. А как? Рыть траншею? От наших окопов до него метров... Пять от окопов до минного поля, десять само минное поле, да за ним еще метров двадцать. Всего, значит, тридцать пять. А до немцев шестьдесят, от силы — семьдесят. Как раз посередине. Как бы немцам не пришла в голову та же самая мысль — сделать из танка ДОТ. Из-под него они смогут и в лоб, и вдоль всей нашей передовой стрелять... Рыть траншею — единственный выход, открыто, в лоб, не возьмешь. Тридцать пять метров... При наших лопатах и замерзшем уже грунте не меньше тридцати пяти часов. Три ночи... Паршиво...

Ширяев сидит в блиндаже — насупленный, растянутый, перевязанная рука на столе.

— Можешь поздравить.

— С чем?

— Фрицы в танк забрались.

— В какой?

— В «семерку».

— Успели, черт...

— Час тому назад. Перешли в контратаку и забрались.

— А мы?

— Что мы? Ни одного бронебойного и зажигательного. Как горох отскакивают.

— Фу ты черт... А комдив приказал захватить его. В ДОТ превратить... И тот вытащить...

— В том три трака перебито...

— До ночи ни черта не сделаем...

— Ни черта... Танкисты ругаются на чем свет стоит.

— Ну и пусть ругаются... А ночью мы с Гаркушей расчистим поле II-бис, пусть меняют траки и вытягивают свой танк.

— А дальше что? Как эту чертову «семерку» захватить?

— Рыть ход. Другого выхода нет.

— М-да... — Ширяев почесал нос. — Ладно, посмотрим. Сначала надо этот вытащить.

Ни один день в моей жизни не тянется так долго, как этот. Не знаю, куда себя приткнуть. Слоняюсь по передовой. Искурил трехдневную норму табака.

Немцы сидят в танке, пытаются повернуть пушки в нашу сторону, но башню заело, и у них ничего не получается. К вечеру устанавливают под ним пулемет и без устали начинают сечь по нашему танку.

Наконец наступает долгожданная ночь. Лихорадочно с Гаркушей снимаем мины с 11-бис, танкисты меняют траки — повезло еще, что повреждены они с нашей стороны, — и до восхода луны танк своим ходом возвращается в наше расположение. Это уже успех. Большой успех...

Теперь надо приниматься за другой, за эту чертову «семерку».

2

В прошлую империалистическую войну, — я где-то об этом читал, — в сводках воюющих держав долгое время фигурировал «домик паромщика» — жалкое строение где-то на берегу Марны или Соммы, ставшее объектом ожесточенной борьбы. В сводках Информбюро наш танк не упоминается, в сообщениях главной квартиры фюрера, по-видимому, тоже нет. Но у нас в полку в течение добрых двух недель он спрягается и склоняется на все лады, фигурирует во всех донесениях, в виде черного, жирного ромба красуется на всех схемах и планах, торчит болезненной занозой на стыке 1-го и 2-го батальона, многим, в том числе и мне, не дает спать и черт его знает сколько раз снится, хотя вообще сны на фронте — явление редкое.

Трудно сказать, скольких человеческих жизней он нам стоил, сколько снарядов и мин всех калибров и сортов было выпущено по нему с нашей стороны. В радиусе

двадцати метров вокруг него земля буквально вспахана. Как-то ночью немцы выкрашивают его в белый цвет, чтобы черные, закопченные бока его не так выделялись на снежном фоне окружающей местности. Раза два мы его поджигаем, и он долго, отвратительно коптит небо... Иногда мы подбиваем один из пулеметов — теперь у них там два, но через час там появляется новый. Немцы подтягивают к танку ход сообщения. Мы тоже копаем к нему траншею, но немцы обгоняют нас, танк в их руках, и копать они могут с двух сторон.

А людей нет. В батальонах всего по девять-десять активных штыков. Бывает и меньше. Бойцы с десятидневным стажем считаются уже стариками. Во 2-м батальоне однажды в течение суток оборону держали два пулемета и 45-мм пушка. Стрелки все вышли из строя.

Раз в три ночи приходит пополнение — озябшие, дующие в ладони юнцы, — топчутся как раз у нашей землянки, получают обмундирование — валенки, тулупы, меховые рукавицы.

— Это что, дяденька, Сталинград?

— Сталинград.

— А где же дома?

— Домов нет. Были дома.

Юнцы переглядываются.

— А хлеба по сколько дают?

— По восемьсот.

— И приварок?

— И приварок.

— А строевой занимаются здесь?

— Нет. Не занимаются.

— Слава богу...

И красноносые, покрытые пушком физиономии улыбаются. Потом их выстраивают, выкрикивают фамилии и уводят на передовую. Иногда только половина доходит до окопов — они пугаются мин, бросаются врассыпную...

Немцы бешено, остервенело сопротивляются. Ежедневно трехмоторные «юнкерсы» сбрасывают им боеприпасы. Где-то там, западнее, кольцо сжимается, стягивается, но здесь, на берегу Волги, передовая не сдвигается ни на метр.

Вторую неделю по Волге идет сало, или шуга, как ее здесь называют. Сообщение с левым берегом осложняется. Боеприпасов не хватает. Батареи на этом берегу — артиллерийские и минометные — получают строгие лимиты на снаряды, а ночной тревожащий огонь из винтовок вообще запрещается. Артиллеристы воруют друг у друга снаряды.

С продуктами тоже неважно. Снабжают нас «кукурузники». Сбрасывают по ночам завернутые в рогожу тюки с сухарями и концентратами. Адресатом считает себя всякий находящийся по эту сторону Волги. Кто увидел, тот и забрал, кому свалилось на голову — тот и хозяин. «Чумаковцы» — разведчики проявляют бешеную активность. Раза два Чумака вызывают к самому комдиву. Оттуда он приходит злой и красный.

— Отдай этим соплякам из 45-го два мешка сухарей, — бросает на ходу старшине, — и скажи, что в следующий раз морду им наклепаю, если так вести себя будут.

И старшина ворча вытягивает мешки с сухарями, — в углу у него целый склад.

Так идет жизнь.

Громыхает артиллерия, строчат пулеметы, разведчики ходят за «языком», Устинов — дивинженер — одолевает меня бумажками, но я их не читаю. «Чертов танк», «проклятая семерка» — как прозвали его бойцы, не дает мне житья.

Траншея почти не подвигается, грунт, как камень, лопаты ломаются, кирки не берут, тол весь вышел, аммонит дрянной, а главное, немцы! Буквально поливают место работы свинцовым дождем, стреляют из минометов, бросают гранаты.

К концу недели мы прокапываем еле-еле десять метров — меньше полутора метров за ночь. Теряю половину своего взвода — троих убитыми, остальных ранеными. Ко всему еще Агнивцев заболевает чем-то похожим на тиф, и его отправляют в медсанбат. За ним отправляется Валега. Стерегущий на той стороне лошадей ездовой Кухарь попадает на краже овса и угождает в штрафной батальон. Кроме Валеги, его некем заменить. Остается нас четверо — я, Лисагор, Гаркуша и Тугиев...

Траншею прекращаю копать.

Как-то вечером приходит с левого берега Лазарь — начфин. Весь белый и дымящийся от мороза вваливается ко мне в землянку. Замерзшими, негнущимися пальцами вытягивает водку из кармана.

— По случаю взятия танка. Вспрыснуть надо...

Лисагор смеется. Я ничего не отвечаю. Мне уже надоели эти розыгрыши. Нет человека в полку, который не шутил бы по поводу моего танка. Даже тихий, скромный Лазарь — и тот вот острит.

— Иди ты знаешь куда?

Лазарь удивленно пожимает плечами.

— А у нас, на той стороне, слух распространился — будто красный флаг уже на танке...

— Вот приходите с той стороны и берите его, а потом уже слухи распространяйте.

Лазарь улыбается, скидывает шинель, сапоги, забирается на койку.

— Мороз такой, что голова трещит. К утру, наверное, Волга станет.

— Давно пора. Может, тол тогда подвезут.

Лисагор раскупоривает бутылку.

— Взрывать, что ли, танк собрались? — спрашивает Лазарь.

— Какой там танк. Землю, а не танк. Земля знаешь какая?

— Вы что, подкапываетесь под него?

Лисагор так и застывает с бутылкой в руке. Меня тоже точно током ударяет. Вот дураки! Неделю мучаемся под немецким огнем, а такая простая мысль до сих пор не пришла в голову...

— Лазарище, будь ты проклят, золотая голова! Где ты только учился?

Подкопаться! Просто как колумбово яйцо! Ближе всего к танку от крайней правой фарберовской землянки. Метров тридцать, не больше. Вал около нее высокий — метра полтора. Немцы даже не увидят, как мы землю выкидывать будем. А грунт на глубине не такой мерзлый.

— Здорово, черт возьми! — Лисагор хватается карандаш. — И людей много не надо. Копать сможет один человек — только часто менять. Один копает, другой

землю вытягивает, двое разравнивают и маскируют. Восемь-десять человек с гаком хватит. Если дивизионных саперов человек пять подкинут — дня за три-четыре сделаем. Правда, инженер?

Лисагор подводит черту и пишет под ней цифру «4» — четверо суток.

— Устинов твой в восторге будет. Совсем как в Севастополе. Заложим толу килограмм сто — и как ахнем!.. Представляешь воронку? Бойцы из нее прямо шеренгой пойдут.

Мы выпиваем поллитровку, хлопаем от радости Лазаря по спине так, что он кашлять начинает. Натянув валенки, я бегу к Ширяеву, потом к майору.

Звонок по телефону полковнику, трехминутный разговор, и с завтрашнего вечера я получаю в свое распоряжение взвод дивизионных саперов, сто пятьдесят килограммов аммонита и пятьдесят килограммов тола из неприкосновенного запаса. Срок — четыре дня.

Ночью я никак не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок, мешаю свернувшемуся около меня клубочком Лазарю спать, курю одну папиросу за другой.

Следующие четыре дня я, кажется, совсем не сплю. Где-то урывками, скорчившись, вздремну на полчаса, и все. В рот ничего не лезет.

Лисагор тоже в лихорадке. Матерится за десятерых, сам землю таскает, раздобывает где-то три аккумулятора и десятиметровый шнур с лампочкой, кормит бойцов шоколадом, чтоб азартнее были.

В первые сутки проходим десять метров. Во вторые — восемь с половиной. Задерживает земля. В ведрах и котелках, на карачках приходится вытягивать ее наружу. С каждым новым метром работа усложняется. Грунт все-таки мерзлый, хотя мы только на глубине двух метров.

К утру первого декабря пройдено восемнадцать с половиной метров. Осталось одиннадцать с половиной. Меняем бойцов через каждые пятнадцать минут. Включаемся сами. В общей сложности нас работает пятнадцать человек. Этого более чем достаточно.

Еще один день. К вечеру остается пройти три метра. Бойцы копают, как звери. Вылезают из туннеля потные

и грязные как черти. Совершенно неумолим Тугиев — работает не по четверти, а по полчаса и в четыре раза превышает норму. Я выхожу из строя — со второго раза натираю себе мозоли на ладонях. Четыре дня — ни я, ни Лисагор не ходим на берег.

Второго декабря часов в девять вечера звонит из штаба Шириев.

— В 5.00 «сабантуй». Успеешь?

— Успею.

— Я приду часа в четыре. Разведчики тебе нужны?

— Для чего?

— Живая сила. Вместо 3-го батальона.

— А не жалко?

— У меня Чумак был. Предлагал свои услуги.

— Что это с ним случилось?

— Хочет первым в танк попасть. Полковник говорил, что к ордену представит.

— Ну что ж, пускай приходит. Я ему всегда рад.

— Человек пять хватит?

— Хватит.

— Жди, значит.

— Жду.

Я кладу трубку.

Итого, значит, одиннадцать бойцов — по три от двух батальонов и пять разведчиков. Мощная операция. Надо только ребят подходящих подобрать. Звоню Синицыну и Фарберу. Синицын обещает дать хорошие «березовые колышки». На нашем телефонно-кодовом жаргоне «березовыми» (в противовес «горелым») колышками называются опытные бойцы, преимущественно из сибиряков.

Фарбер сам приходит ко мне — в блиндаж 1-й роты, мой временный КП.

У него желтуха. Лимонно-желтый, в круглых очках своих, он похож сейчас не то на китайца, не то на японца. Желтухой сейчас почти все болеют — от однообразной пищи. Противная болезнь — нападает инертность, сонливость, пропадает аппетит. То тут, то там на снегу видны красно-бурые следы мочи.

— Кончат, значит, сегодня собираетесь? — говорит Фарбер, снимая и протирая запотевшие очки.

— Как будто...

— Волнуетесь?

— Волнуюсь.

Я чувствую, что мне страшно хочется спать — режет глаза, точно в них песок, — а сон не идет. Бывает такое!

— От вашего батальона трое пойдут, знаете? — говорю я.

— От моего три и от Сеницына три. Так, что ли?

— Так. Всего шесть.

— Шесть... Почти целый батальон.

Он улыбается своей тихой некрасивой улыбкой.

— Сколько у вас людей теперь, Фарбер?

— Каких? Которые хлеб получают или воюют?

— Воюют.

— Без минометчиков и пулеметчиков — девять. Это с командирами рот, взводов, отделений.

— А их сколько?

— Один.

— Здорово.

— Вчера было двое, сегодня один.

— Убит?

— Убит. Уразов. Вряд ли вы его знаете. Из новеньких. Татарин, кажется, или казах. Хорошенький такой, черноглазый...

— Снайпер, должно быть?

— Снайпер. Расплодилось их сейчас у фрицев — уйма. За последнюю неделю пятерых вывели у меня из строя.

— Мне сегодня тоже попало, — сидящий в углу связист показывает потрепанную ушанку — в ней маленькая аккуратная дырочка в наушнике, — когда цепь проверял.

— А Уразову в каску, — говорит Фарбер. — Прямо в лоб. Никогда раньше не носил. А тут надел. Точно предчувствовал. Утром все письма писал.

— А вы верите в предчувствие, Фарбер?

— Как сказать...

— А все-таки...

Фарбер опять снимает и протирает очки. Одевает их, поправляет за ушами, на переносице. Не мигая смотрит в огонь, на весело потрескивающие щепки.

— Как вам сказать... — совсем тихо говорит он, — и верю, и не верю. Умом не верю, а вот где-то внутри, вопреки разуму... Он старательно впихивает в печку смолистую, сверкающую янтарными капельками щеп-

ку, — пламя с жадностью охватывает ее со всех сторон. — В детстве я боялся покойников, ни за что бы не пошел ночью на кладбище. Даже сейчас, когда я вижу убитого, мне трудно представить себе, что это уже все, абсолютный конец... Какой-то душевный атавизм?.. — Он подбрасывает еще несколько щепок в огонь. — Был у меня друг. Собственно говоря, даже не друг — друзей у меня давно уже нет, — а человек, к которому я очень хорошо относился. И он ко мне, как будто, неплохо. Веселый такой мальчик, командир конной разведки. Шутник, весельчак, кровь так и играла. На любое самое сложное задание, как на прогулку, отправлялся. Заломит набекрень кубанку, папиросу в зубы — и пошел... И вот когда он на последнее свое задание отправлялся — было это весной этого года, на Донце, — пришел он ко мне и попрощался... «Будь здоров, — говорит, — Фарбер, больше не увидимся». Я сразу даже не понял. Решил, что в другую часть переводят или в какое-нибудь училище посылают. «Нет, — говорит, — за «языком» иду». Почему же не увидимся? «Не вернусь. Убьют». И в одну точку все смотрит. «Я уж точно знаю». Даже карточку мне на прощанье подарил.

Фарбер расстегивает шинель и откуда-то из глубины достает старенький, потрепанный бумажник. Мы оба долго рассматриваем веселое, мальчишеское, почти без бровей лицо, смотрящее на нас с потрескавшегося и потертого глянцевого квадрата.

— Сережа Кондрашев. Лучший разведчик, которого я когда-либо встречал. — Фарбер прячет бумажник и застегивает шинель. — Ему оторвало голову снарядом, когда он уже вернулся с задания и устраивался на ночлег...

Больше мы ничего не говорим. Сидим и смотрим на огонь, на вываливающиеся из печки и тихо гаснущие на земле угольки. Откуда-то издалека чуть слышно доносятся редкие, равномерные пулеметные очереди... На передовой тишина.

А часиков через пять-шесть... Проверим pistols, гранаты, натянем рукавицы и...

Я закрываю глаза и стараюсь себе представить, как развернутся события.

Будем лежать у входа в туннель на животах и смотреть на часы. Потом или я, или Ширяев скажем:

«Пора». Кто-то приложит к наискось срезанному бикфордову шнуру спичку и с силой проведет по ней теркой. Спичка не зажжется. Зажигающий вполголоса выматерится, полезет в карман за другой спичкой. Кто-нибудь присветит фонариком, заслонив его ладонью. Опять движение теркой. Вспышка. Пошло. Бикфордов шнур выплевывает пламя, тихо шипит, укорачивается. Пятнадцать секунд — столько секунд, сколько в нем сантиметров. Медленно подбирается к капсулю, капсуль соединен с детонирующим шнуром. Детонирующий шнур длиной в тридцать пять метров, но сгорит он в $\frac{1}{8}$ секунды. Он горит со скоростью 270 м в секунду... Мы все сожжемся, подберемся, еще раз проверим, где гранаты.

А потом... Потом тридцать метров под землей, натываясь на чьи-то пятки, сжимая в руке оружие, задыхаясь от напряжения...

А может, недостаточно толла положили и воронка получится слишком маленькая, тесная? Нет. Сто пятьдесят килограммов толлу и сто пятьдесят аммониту — это не игрушки...

Ну, а потом, потом... Неужели будем сидеть под танком? Повернем пулемет и будем жарить по немцам? Ход завалим, заминировем. А завтра вечером, сидя в моей землянке за шипящим самоваром, будем говорить обо всем, как уже о прошедшем...

А может?.. Нет, не может быть. Ни в коем случае не может быть... Никогда больше не скажет полковник: «Эх, инженер, инженер...»

— Товарищ лейтенант, вас!

Телефонист протягивает мне трубку. Беру.

— Шестьдесят первый слушает.

В ухо шипит голос Коробкова — зам по тылу, — он сегодня дежурный по штабу.

— Большой хозяин интересуется, как дела. Сколько осталось?

— Метра три...

— К пяти будет готово?

— Будет.

— Так и передать?

— Так и передать.

— Это точно?

Я отдаю трубку телефонисту. Коробков может за-

мучить своими вопросами. Фарбер встает, опускает наушники на шапке — мороз сегодня еще крепче.

— Поеживаются фрицы, — улыбается он, завязывая тесемки под подбородком. — Видали наш трофей сегодняшней?

— Какой трофей?

— Неужели не знаете? Фриц к нам перебежал...

— Ну?

— Самый настоящий, кукрыниксовский. В пилотке. Обмотанный полотенцем.

— Что ж вы не рассказываете?

— Я думал, вы знаете. Раненько утром еще прибежал. Надоело, говорит, воевать — холодно. Штрафник. Не захотел отдать офицеру теплый свитер. С убитого товарища снял. Ну и угодил в штрафники — под танк.

— Под танк?

— Под танк. Он у них «toteninsel» называется — «остров смерти». Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит — оправдывается, кто двое — получает железный крест, кто трое — с дубовыми листьями. Но таких еще не было...

— Ага... Значит, и у них он в печенках сидит. Хорошо.

— Говорят, в день по пять-шесть убитых вытягивают из-под него.

— Хорошо...

— Отправили его в штаб. Что-то важное хочет сообщить, только не ниже как полковнику... Смешной так, замерзший и с рюкзаком не меньше, чем он сам. Пожалел расстаться... Ну, ладно. Я пошел...

Фарбер протягивает руку.

— Так, значит, в пять?

— В пять.

Он уходит. В землянку врывается облако свежего морозного воздуха, и коптилка чуть не гаснет.

4

Слегка морозит. Недавно прошел снег, и кругом все бело и чисто. Небо затянуто. Редко, лениво взлетают ракеты, искрится сухой рассыпчатый снег. Невдалеке белеют баки, покосившийся, точно упершийся лбом в землю танк... Так близко он, в двух шагах... Смутно

виден извилистый зигзаг траншеи, — теряется где-то около баков.

Тихо...

Даже пулеметы из-под танка не стреляют. Ждут. Лисагор сидит на корточках у норы, в валенках, в ватнике, курит в кулак. Двое бойцов, согнувшись, разравнивают вываленную землю, присыпают сверху снегом.

— Принесли взрывчатку? — спрашиваю.

— Последнюю ходку делают.

— Где свалили?

— В разбитой землянке, около НП.

— Аммонит подсушил?

— Подсушил... Но вообще дрянной. Один мешок совсем как камень. Пришлось отложить.

Присветив сигаркой, смотрю на циферблат.

— Без двадцати три уже...

— Два часа осталось.

— Два часа.

— Ничего. Успеем.

Из норы вылезает боец с ведром. Высыпает землю.

— Что-то мягче грунт стал. Пошло дело... — и опять уползает под землю.

Через час приходит Чумак с четырьмя разведчиками. Точно на парад собрались — подтянуты, бляхи поясов сверкают, тельняшки выстираны.

— Будем ордена зарабатывать, а, инженер? — улыбается Чумак, разваливаясь у печки.

— Давай, дело хорошее.

— Первымпустишь меня?

— Полезай, коли охота есть...

— Пехоты сколько будет?

— Шесть.

— Тоже по ходу?

— Нет — вторым эшелонем — из недорытой траншеи.

— Закурим по этому случаю.

Закуриваем.

— Что на берегу слышно? — спрашиваю.

— Ничего. Пусто — хоть шаром покати. Одна Рита-почтальонша.

— Газету не догадался принести?

— Ничего интересного. Фрицы там, западнее, пачками сдаются, а здесь вот сидят, сволочи.

— А в Африке?

— Ни хрена. Французы где-то, не помню уже где, флот свой подорвали. Линкоры, крейсера...

— Зачем?

— Откуда я знаю. Взорвали и все. Немцы, что ли, захватить хотели...

Вваливается Лисагор. Отряхивает снег.

— Принимай, инженер.

— Кончил?

— Кончил.

— Отправляй тогда людей. Тугиева только оставь. И мин противопехотных с полдюжины. Дивизионному саперу скажи, чтоб завтра приходил водку пить, если живы останемся. Шнур проложил?

— Гаркуша тянет.

— Ладно. Когда кончит, скажешь.

Лисагор уходит. Вскоре приходит Ширяев, за ним Фарбер и Сеницын. Опять закуриваем, поглядываем на часы. Остается полчаса. Двадцать минут... Пятнадцать...

Без десяти выходим. Опять снег пошел — густой, за десять шагов ничего не видно. Батальонные бойцы в белых масках топчутся около туннеля — толстые, неуклюжие, точно медведи. Подходит Лисагор:

— Можно поджигать?

Я поворачиваюсь к Чумаку.

— Твои готовы?

— Готовы.

— Твои, Сеницын?

— Готовы.

— Фарбер?

— Готовы.

Все отвечают почему-то шепотом. Я докладываю Ширяеву.

— Начинать, — тоже шепотом говорит он.

Лисагор, поскрипывая валенками, подходит к туннелю, садится на корточки. Долго что-то возится. Зажигает. Чумака протягивает мне финку: «Возьми, пригодится», — и подходит к туннелю. Я за ним. Как долго тянутся эти пятнадцать секунд. Я успеваю снять рукавицы, засунуть их за пояс, вынуть пистолет, взвести, осмотреться по сторонам — все точно вкопанные — белые солдаты, черные в своих бушлатах разведчики...

Считаю — раз-два-три-четыре-пять...

Страшный взрыв сотрясает землю и воздух. На какую-то неуловимую долю секунды все озаряется ослепительным, режущим глаза светом. Плоское, с зажмуренными глазами лицо Лисагора... Сыплется земля сверху...

— Пошли!

Чумак скрывается в черной дыре. Я за ним. Быстро-быстро перебираю руками и ногами. Ход тесный. За шиворотом полно земли. Кто-то, вероятно, Тугиев, сопит за моей спиной.

Лезем, лезем, лезем... Конца нет этому ходу... Жарко и воняет толом... Стоп... Чумак стал... Разгребает землю... Пошел... Видно небо... Морозный воздух... Колец... Чумак выскакивает... Воронка, как от 200-килограммной бомбы... Справа вверху танк — покосившийся, белый на черном небе... Вот он, сукин сын, шагов пять-шесть всего...

Чумак бросает гранату... вторую... Бежит по ходу сообщения... Исчезает... Я проваливаюсь куда-то... Хватаюсь за холодное, липкое от мороза железо танка... Чей-то крик... Кто-то наваливается на меня, хватая за горло... Ударяю финкой — раз-два... Свалилось... Лезу дальше... Крик... Сип... Выстрелы... Что-то с силой ударяет меня по ноге... Ни черта не пойму...

— Юрка, ты?

— Я...

— Спички есть?

— Фонарик.

— Зажигай.

Никак не могу вытащить фонарика. Запутался в кармане. Сзади кто-то наседает.

— Это вы, товарищ лейтенант?

— Стой... не лезь.

Зажигаю фонарик. Лицо Чумака. Из носу у него течет кровь. Убитый немец с открытыми глазами. Пулемет. Все кругом забито отстрелянными гильзами.

— Здесь все... Полезли назад. — Чумак отпихивает меня и лезет назад. Поворачиваюсь и чувствую вдруг, что правая нога прилипла к земле... Что за черт... Неужели... Освещаю фонариком ногу. Ниже колена в сапоге крохотная дырка... Хочу поднять ногу... В глазах круги....

— Чумак!

Никого. Мертвый фриц, пулемет и гильзы. Это все. Ползу на локтях и левом колене к выходу... Опять круги... Снаружи стрельба, взрывы гранат... Стиснув зубы, ползу дальше. Еще один фриц. Блестят шипы на подошвах сапог. С трудом перелезаю через него. Он лежит ничком, поджав руки под живот. Еще теплый...

Вверху небо. Трассирующие очереди. Чувствую, что дальше ничего не выйдет. Вытягиваюсь. Жду.

Хлоп... Кто-то прыгает прямо на меня. Ч-черт!

— Кто это?

В ответ только ругаюсь.

— Товарищ инженер, вы?

— А кто же...

— Рансны? — Кто-то наклоняется надо мной.

— Вроде...

— Федька, давай скорей пулемет и прыгай...

Кто-то еще прыгает в траншею. Это последнее, что я помню. Все кругом застилает что-то черное и тяжелое... Мне удобно и уютно. Никуда не хочется. Заснуть бы только... Крепко-крепко...

5

Все позади... Танк, Лисагор, Ширяев, землянка с шипящим самоваром...

Надо мной мутное, затянутое тучами небо. Где-то луна. Под низом мягко. Ушанка налезла на самые брови и почему-то опущены уши. В рот лезет что-то шершавое вроде шинели. Прямо передо мной спина — широкая в тулупе... Куда-то везут... Скрипят полозья. Приятно укачивает... Засыпаю... Просыпаюсь... Все та же спина... Чья же это спина? Мне лень спрашивать, и я опять засыпаю...

Потом кто-то осторожно берет меня под мышки и под зад, и вместо широкой спины — крупы двух лошадей, помахивают хвостами. Чьи-то незнакомые лица.

— Поосторожней там, хлопцы... Видите, нога переломана...

Как будто голос Гаркуши — грудной, низкий. Несут

куда-то. Палатка — большая, светлая, на боковых стенах длинные черные тени.

— Передовая карточка есть? — спрашивает кто-то.

— Есть, есть... — опять голос Гаркуши.

Но я его не вижу — только голос слышу. Что он здесь делает?

— Кладите сюда.

Опять поднимают. Я оказываюсь на столе, совсем голый. Знобит. Под спиной холодная, противная клеенка.

Теперь я вижу уже Гаркушу. Черноусый, в расстегнутом тулупе, в сдвинутой на затылок ушанке он улыбается во весь рот.

— Ты чего здесь? — спрашиваю я, и голос мой как будто доносится из другой комнаты.

— Вас привез, товарищ лейтенант... — и все улыбается. — В дом отдыха привез.

— Медсанбат, что ли?

— Так точно. Медсанбат.

— Танк взяли или нет? — пытаюсь припомнить я последние события.

— Как же. При мне майор Бородин комдиву звонил.

— А мне что — ногу перебило?

Я приподымаю голову. Правая нога ниже колена распухла и замазана кровью. Раны на таком расстоянии не видно.

Маленькая, с туго закрученными вокруг головы черными косами девушка, — должно быть докторша, — наклонилась надо мной. Натирает живот чем-то холодным. Пахнет эфиром. Почему живот? Ага, от столбняка — с этого всегда начинают. В ее руках шприц — большой и блестящий. Я вижу, как медленно тает в нем мутная, неприятная жидкость. Ее вгоняют мне в живот, но это совсем не больно.

Докторша щупает ногу — зачем-то тянет ее. Фу ты черт... Вырвать, что ли, хочет?

— Осторожней, черт вас возьми!

— Новокаин, — не подымая головы, говорит кому-то докторша и быстро-быстро маленькой ваткой смывает кровь с ноги.

— Запишите, Шура: средняя треть правой голени. Перелом. Огнестрельная, сквозная. Раны чистые. По-

теря крови незначительная. Первичная обработка... — Круто поворачивается ко мне: — Санрота?

— Санрота, — вставляет Гаркуша — он все тут же, не уходит.

— Пишите — санрота.

Она опять берет в руки шприц и четыре или пять раз подряд втыкает его в ногу ниже колена, деликатно оттягивая кожу. После этого я уже ничего не чувствую в ноге — даже когда маленьким, сверкающим ланцетом аккуратные пулевые дырочки превращаются в длинные, кровоточащие разрезы.

— Противостолбнячная сыворотка введена. Рассечение входного и выходного. Риванол. Иммобилизация — шиной Крамера.

Все это она говорит быстро и отрывисто, как заученный урок, и на меня, — не на ногу, а на меня — обращает внимание только, когда прямая, как палка, нога обмотана бинтами от пятки до таза.

— В госпитале гипс наложат. Страшного ничего. Месяца полтора-два отдохнете, а там опять...—И на лице ее — только сейчас я замечаю, какое оно утомленное, — появляется улыбка. — Следующий...

Меня снимают со стола.

В палатке — другой уже, поменьше — Гаркуша взбивает солому, раскладывает одеяла — оказывается, он их штук пять с собой привез.

— Спасибо, Гаркуша. Иди. Мне хорошо.

— Там под подушкой я фляжку положил. Чтоб не скучали.

— Спасибо, Гаркуша. Не беспокойся.

— Это командир взвода Лисагор передали. Чтоб нас вспоминал, сказал.

— Спасибо. Поблагодари его. Не забудь.

— Обязательно. — И потоптавшись еще вокруг меня: — Не холодно?

— Нисколько. Все хорошо. Иди, иди.

Он просовывает свою шершавую руку мне под одеяло и пожимает пальцы.

— А жар у вас все-таки есть. — И немного еще помявшись: — Ну, поправляйтесь... А кончится, еще привезем. Чтоб не скучно было.

И, весело подмигнув мне, уходит.

Госпиталь, в который я попадаю после медсанбата, — незавидный госпиталь. Маленький, тесный, бывшая школа. Лежат в коридорах прямо на соломе. Одеял не хватает, простынь тоже, халатов и тапочек нет. Мы долго лежим в приемной, ждем, когда натопят баню. Ругаемся на чем свет стоит. В машине замерзли, повязки сбились — сто километров по ухабистой дороге, держась за борты, стиснув зубы — удовольствие ниже среднего.

Потом баня. В ней холодно, санитарок, чтоб обмыть нас, не хватает, в перевязочную очередь. Ходячие захватили лучшее белье, а мы, лежащие, лежим в рваных рубашках, засунув истории болезни под повязки. Опять ругаемся и ждем своей очереди на стол. Сквозь поминутно хлопающую дверь видно, как суетятся врачи в соседней комнате.

Раненых много, большинство из 64-й и 57-й армий, с той стороны кольца, с юга, с севера.

— Пять суток везли... Всю душу вытрясли... — ворчит кто-то в углу.

— Шоферов бы всех этих на передовую... Разжирили... Торопятся куда-то... — Это откуда-то уже из другого угла.

— И без курева все время... Там, говорят, получите. Дождешься.

— Повязка вся промокла к чертовой матери...

— Сестра, а, сестра... Двое суток не оправлялся... Дала бы утку...

Сестры сбились с ног, проходы завалены ранеными, коптилки от сквозняков поминутно гаснут.

В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на пять человек, командирская. Санитары ставят носилки посреди комнаты.

— Где свободная койка?

— Вон туда, на место Варламова. Посмотри только, переменили ли простыни.

Раненые, завернувшись в одеяла, сидят на койках — хлеблют что-то из глиняных мисочек. Один спит.

— Из какой армии?

— 62-й.

— Не из 13-й гвардейской?

— Нет, 184-я.

Долговязый с раскосыми глазами парень, в коротких, чуть ниже колен кальсонах, подсаживается на мою койку.

— Ну-ну, рассказывай, сосед... Как там? Взяли вы уже баки?

— Черта с два...

— А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят.

— Пока нет. Правее — 92-я...

Еще двое подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один безногий, на костыле, с гвардейским значком на рубахе, востроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый. Черноглазый и курчавый.

— Нога, что ли? — спросил безногий.

— Нога.

— Осколком, пульей?

— Пулей. Из пистолета...

— Из пистолета?..

— Из пистолета.

— Где же это ты умудрился?

— Чего ж тут умудряться? Выстрелил фриц и все.

На то им и оружие дают.

— Кость цела?

— Голень ниже колена перебита.

— Полтора месяца как из пушки, — говорит раскосый и ставит миску на окно. — Это если остеомиэлита не будет.

— Чего не будет?

— Остеомиэлита. Это когда осколки в свищ лезут. Костяные. Тогда — пока все не вылезут, лежать будешь.

— А нерв задет? — спрашивает другой, похожий на грека.

— Черт его знает.

— Пальцы чувствуешь?

— Чувствую.

— А двигать можешь?

— Не пробовал.

— Попробуй.

— Как будто шевелятся.

— Твое счастье... У нас тут лежал один. Рана чепуховая — на десятый день зажила, а нерв повредило —

радиальный на правой руке. Дали год отпуска — пока не восстановится.

— А он что — сам восстанавливается?

— Сам. Только медленно очень. По миллиметру в день. От места повреждения до кончиков пальцев. А если порван, тогда сшивать надо — канитель дай боже.

— А вот у нас случай был, — перебивает раскосый и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лейтенанту отбило член и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно, со всеми деталями, но слушают его все с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода увечьях и ранениях, и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ-палатке тащили, и как наркоз давали, а он не брался («выпил я перед тем малость»), и как осколок «вот такой величины» вытащили, и как в машинах потом трясли...

— Тебя тоже трясли? — смеется курчавый.

— Дай бог. Все внутренности наизнанку.

— А через Волгу как? На лодке?

— Нет. На лошадях. Стала уже Волга.

— Ну?..

— Неделю как стала. В одном месте только не замерзла — полынья осталась — против водокачки.

— Слава богу... Наладилось, значит, снабжение.

— Понемножку...

— И шамовка лучше?

— Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей.

— Ну, а фрицы как? — перебивает безногий.

— Сидят. Огрызаются.

— Вот сволочи. И неужто бомбят еще?

— Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают.

— А наши?

— Тоже не очень. Раза три в день «Илюши» летают за бугор, по ночам «кукурузники».

— А «Ванюша»?

— «Ванюши» нет. Умолк.

— Не жизнь, а малина! — хлопает он рукой по колену и смеется: — Надо на передовую, а то зажиреешь

здесь на булочках да манной каше... У вас там небось манкой не кормят...

— Надоела, что ли?

— Поживешь — увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет.

— У Ларьки все бабы на уме, — смеется черномазый, сверкая зубами. — Ноги нет, а все о бабах...

— А о ком же! Полтора года баб не видал, а тут их пруд пруди. И врачи, и сестры, и кухарки — все бабы...

— А лечат как? — спрашиваю.

— Кто? Кухарки? На обед увидишь...

— Лечат ничего, хоть и молоденькие, — говорит раскосый, — с ног только сбиваются — раненых уж больно много.

— А сестры?

— Сестры ничего, жить можно. Наша — палатная, совсем хорошая. Варя. Вот хозяйка — та похуже. Белья хорошего не добьешься, БУ все, с завязками, ржавое...

— Ты ей скажи, чтоб тапочки дала, сама никогда не додумается. Ты кто — лейтенант?

— Лейтенант.

— Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В двенадцатую вот палату — там три капитана — дала халаты, а нам один на пятерых...

— А газеты есть?

— Газеты есть. Фронтовая на палату. А в красном уголке и «Правда», и «Известия», и «Красноармеец» есть. Ты ходил уже за ними, Ларька?

Ларька хватает костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко.

— Староста палаты, — говорит долговязый. — Мировой парнишка. Лыжником был, а сейчас вот на костыле... Как выпьет — все здоровую ногу свою показывает, заставляет мускулы щупать. Первую премию где-то за танцы получил.

К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был слесарем на заводе, что он представлен к двум орденам, что есть у него где-то в Саратове Вера, но что-то давно уже не пишет (много развелось там, видно, тыловики в ремешках и хромовых сапогах), что командир их дивизии мировой парень — восемь орденов

уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора, блондиночка такая, и он с ней того самого...

Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой — полковым инженером. Зовут его Серапион, фамилия Будочка, и вообще все в нем неожиданно, не так, как у других. Он самый высокий в палате, но кальсоны на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по шесть пальцев и это является предметом бесконечных и не очень разнообразных острот. Родился он где-то в Баренцевом море на ледоколе, во время шторма, отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель, в армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранило его тоже по-глупому. Бомба попала в двух шагах от него в походную кухню, но не разорвалась. Перебило оглоблю, она отлетела и впилась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комиссовался и со дня на день ждет получения документов.

Третий — мой сосед по койке. Когда меня принесли, он спал, завернувшись с головой в одеяло. Проснулся только к обеду. Маленький, кругленький, розовый — абсолютно лысый, он приветливо улыбается:

— Капитан Сумароков. Никодим Петрович. С кем имею честь?

Представляюсь.

— Разрешите узнать, куда ранены?

— В ногу.

— С переломом?

— Да.

— И гипс наложили?

— Нет еще.

— Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтоб сама Вера это делала, а то старшая из 1-го отделения кости не умеет направлять.

Он все время улыбается и поглаживает лысину.

— А мне, голубчик, в живот угодило. Но как угодило! Вы только послушайте...

И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему шестьдесят лет, в прошлом он был

счетоводом в Наркомлеспроме, сейчас служит в политотделе армии и ждет писем от жены, которая эвакуировалась в Сибирь.

Осколок, который ему попал в живот, — маленький, величиной с горошину, — он держит под подушкой, в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая: «Вот такая вот мелочь — грамма в ней нет, а может на тот свет отправить». Вообще говорит он много, с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход бородинского сражения, с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без запинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до Конотопа.

Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Моора — до войны он был любовником в каком-то театре.

— Не так, не так... — ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло — в палате прохладно, а халатов нет. — Больше души... Души больше... А ты все на голос... Смотри, какой красный стал... Вот Орленев, например...

И начинаются воспоминания об Орленеве.

Иногда Бояджиев поет — у него довольно приятный, комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине, и тогда наша палата набивается до отказа ранеными из соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз с такого красивого, такого душики младшего лейтенанта...

В общем, ребята славные...

На ногу мне накладывают гипс — холодный, тяжелый, захватывающий колено. Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию. Для чего фамилию, никак не могу понять, но так уж заведено. Начальница

отделения — очень хорошенькая, но строгая и малообщительная Вера Афанасьевна, говорит, что только через месяц снимут, а может, и больше.

— Дней через десять начнете ходить, а пока лежите.

И вот я лежу. Смотрю в окно на кусочек крыши с водосточной трубой и то синее, то серое небо, слушаю хрипящее над головой радио и бесконечные рассказы Никодима Петровича, глотаю стрептоцид и читаю «Гиперолоид инженера Гарина» — единственную на все отделение книгу, истрепанную до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги.

В палате теперь тепло, клопов нет, желтое с красной полоской одеяло мягко и уютно, кормят белым, как вата, хлебом, снаряды вокруг не рвутся, на задания никто не посылает — что еще надо... Лежи и поправляйся, деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда...

По утрам нам ставят термометры, и каждый раз кто-нибудь нащелкивает градусник до 39 или 40° и сует дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, сестра обязательно пугается (по-моему, специально, чтоб доставить нам удовольствие), а мы хохочем, как дети.

Вообще раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и пятнадцать лет назад. Спрятать чей-нибудь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженный с буфетчицей; приколоть записку сестре на спину; спрятать одеяло или подушку во время смены дежурных... Бог ты мой, как это весело... Мы грохочем на целое отделение — даже лысый, имеющий трех детей и одного из них майора — Никодим Петрович.

Там, на передовой, времени не было заглянуть хоть одним глазом в «Фортификации» Ушакова — чуть свободная минута — сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй, а немецкий словарь и какой-то журнал — будем же мы когда-нибудь в Германии! — без дела пылятся на тумбочке. Не хочется заниматься. Не хочется читать серьезных книг. Скорей бы вот в соседней палате «Таинственный остров» прочли... А пока

что проигрываю Будочке одну за другой по десять партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларьки или спорю с Никодимом Петровичем о вариантах открытия второго фронта или значении в нынешних условиях войны долговременной обороны.

— Вот я старый человек, — говорит он, поглаживая свою гладкую как бильярдный шар, лысину, — в военном искусстве мало понимаю, но, по-моему, простите меня за смелость суждения, все эти линии Мажино и Зигфрида со всеми своими дотами, бетонированными казематами и подземными туннелями — все это чепуха, ничего кроме вреда они не приносят. Это мое глубокое убеждение... Вот вы — полковой инженер. Вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде... А, простите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ли в ней бетона и всяких там драконовых зубов?

— Пожалуй, не очень, — уклончиво отвечаю я.

— Не очень? Вы говорите — не очень, — он всеело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. — Я у вас там не был, сооружений ваших не видал, но не поставлю и ломаного цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тыщонку мин, которые вы там расставили...

Я молчу. На участке моего полка всего шесть с позволения сказать дзотов — два наката рельс и полу-сгнившие шпалы сверху, и 560 мин. Но я молчу — пускай себе думает...

— Разве мины ваши удержали немцев? Разве дзоты? Черта с два, дорогой мой друг, черта с два... Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате и дуются в домино, вот этот самый наш Ларька — покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у Тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите — линия Мажино... Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами и электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет... Стойте, стойте, не перебивайте меня! Вы читали корреспонденции Беякова — кажется, Беякова или Байдукова, не помню уже, об американских лагерях в Аляске? Теплая и холодная

водичка, электрические печки... Не читали? Прочтите... Обязательно прочтите. Очень поучительно... Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом. Прапорщиком. Два Георгия заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним. Он бы уж вам понарасказывал, как там англичане воевали. Нация спортсменов... Каждое утро душ, какао и прочие деликатесы... А как в окопы попали, коснулись матушки-земли, так сразу половина в лазаретах оказалась... Нет, все чепуха... Косолапый наш Иван, сморкающийся в пальцы и бреющийся раз в неделю, — войну делает... Он, голубчик мой, только он...

Никодим Петрович торжественно смотрит на меня своими маленькими веселыми глазками.

— И не только он. А и вы тоже, и Будочка, и любовник наш, который чинил на передовой пулеметы, сменив свои — как они у вас называются, Бояджиев, штаны эти в обтяжку, лосины, что ли? — на штаны с наколенниками, и даже покорный ваш слуга... Вот где она, собака, зарыта, уважаемый мой, вот где...

А я подливаю масла в огонь, подзадориваю его, доказываю, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне, а он ерепенится, входит в раж, размахивает руками...

Так и тянутся дни. Тоскливо, однообразно, но уютно, тепло и главное беззаботно.

На десятый день встаю. Два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится. Костыли скользят. Нога тяжела, как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираюсь в коридор, перевязочную, а потом, с помощью Будочки, добираюсь до красного уголка.

Горизонты расширяются. День укорачивается. Появляются процедуры. Веселая, пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу. Не больную, а здоровую — говорят, помогает больной. Допустим. Все равно делать нечего, а массаж — вещь довольно приятная, особенно когда делают его не с вазелином, а с тальком.

От нечего делать торчу в перевязочной. Это вроде клуба или парикмахерской — там всегда узнаешь последние новости, и время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув правую ногу, и перематываешь

целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны—перевязочной сестры. Раны все знаешь уже наизусть.

— Эге, Романов, смотри как загранулировала у тебя. Дней через десять уже комиссоваться можно.

— Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает.

Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой.

— А помнишь, с какой сюда пришел? Одни тряпки висели.

Романов смеется:

— Как не помнить. Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новая, мол, нарастет... Не жалеете вы нас, больных.

Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды.

— Что ты, сынок... Как это язык у тебя только поворачивается. У меня вот такой же, как ты, может, тоже сейчас в госпитале мучается. А ты говоришь... Постыдился бы...

— Ну, ну, тетя Клава, я же просто так. К слову пришлось.

— К слову... Сегодня вот привели одного. Ну совсем как мой. Такой же крепенький, румяный... Пуля в плече, до кости добралась. Ни поднять руки, ни опустить... Я увидела — так и обмерла — совсем Сенька...

У нее даже слезы наворачиваются на глаза.

— Сел на столе операционном и ногой стал мотать вперед-назад. Ну, совсем как Сенька мой. И улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается — «режьте, говорит, скорей»... А тут как на грех весь новокаин вышел. Завтра только обещают привезти. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать, мешает уж больно пуля, режьте так. А пуля глубоко, до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит: хорошо, сделаем под общим наркозом. Тоже, говорит, не хочу. Меня от него потом два дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали — ни в какую. Не боюсь я боли, режьте и все. Упорный такой... Так и не уговорили.

— А когда резать будут?

— Минут через двадцать. Вера Афанасьевна обход только кончит.

— А посмотреть можно? — интересуюсь я, все-таки развлечение.

— Мешать не будешь?

— Что вы, Клавдия Михайловна, разве можно. Сяду в углу и бинты, мол, перематываю.

— Бог с тобой — приходи. За шкаф сядешь.

— Вера Афанасьевна не прогонит?

— А ты, когда она уже начнет, приходи. Скажу, что вместо Лиды мне помогаешь. Лида не вышла сегодня — заболела.

Вера Афанасьевна самая молоденькая и хорошенькая из всех наших докторш. Держится она независимо, на воротнике носит шпалу, в лишние разговоры не вступает и ко всем больным относится одинаково внимательно. Никаких ухаживаний не принимает. Говорят, муж ее погиб в первый день войны. У нее выющиеся каштановые волосы, чуть заметные золотистые усики и сильные, длинные с матовыми, коротко остриженными ногтями пальцы. По-моему, она должна обязательно хорошо играть на рояле. Говорит она со всеми резко, отрывисто, с замечательным чисто московским акцентом.

Когда я прихожу в перевязочную, Вера Афанасьевна и еще две сестры — кажется, студентки, — уже там. Клавдия Михайловна завязывает им халаты. Все трое стоят, широко расставив стерильные руки. На подоконнике булькает кипятильник с инструментами. Больной — молодой паренек — лежит ничком, положив руки под голову, на обыкновенном школьном столе, покрытом белой клеенкой. Рубашка висит рядом на стуле. На ней Красная Звезда и гвардейский значок.

Парень лежит ногами ко входу, сверкая голыми серыми пятками. Лица не видно. Видны только коротко стриженный затылок, широкая мускулистая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника и большое зеленое пятно на правом плече. Не шевелится — похоже, что спит.

Я сажусь между окном и шкафом, так что меня не видно, и принимаюсь за бинты.

Клавдия Михайловна подходит к кипятильнику. Одна из сестер натирает раненому плечо кусочком марли, Вера Афанасьевна протягивает руку в темной резиновой перчатке и говорит: «Скальпель» — тихо и отрывисто...

Вся операция длится не больше семи-восьми минут. Скальпель рассекает кожу, мышцы, маленькая струйка крови стекает в поставленный на полу таз, блестящие щипчики, ухватившись за края кожи, раздирают рану, и Вера Афанасьевна прямо пальцем влезает в нее — красную, большую теперь и кровоточащую. Серые пятки вздрагивают, одна нога быстро сгибается и сразу же выпрямляется, слегка дрожа, на спине напрягаются мускулы, но ни единого звука больной не издает. Лоб Веры Афанасьевны — кроме него и глаз ничего не видно — закрыто марлей — бледнее обычного. Брови сдвинуты. Она ищет пулю, медленно вращая пальцем в ране. Напряженная тишина. Слышно только, как прерывисто дышит раненый.

— Сухо! — в руках у Веры Афанасьевны что-то маленькое и красное.

Клавдия Михайловна беззвучно подает длинными щипцами клубящуюся паром марлю.

— Бинт! — Щипчики, придерживающие кожу, исчезают. Белая, длинная змея плотно обвивает плечо и спину раненого, проскальзывает под мышкой, вокруг шеи, опять на спину. Красное, потом розовое пятно на плече постепенно исчезает. Клавдия Михайловна торжествующе смотрит на меня: «Видали как...»

Вера Афанасьевна подходит к рукомоёйнику, стягивая с рук тонкие, желтоватые перчатки. На щеках ее легкий румянец.

— Вы что здесь делаете, Керженцев? — недовольно говорит она, заметив меня за шкафом.

— Клавдии Михайловне помогаю, товарищ капитан, — кротко отвечаю я, — бинты вот перематываю...

Она ничего не отвечает, моет руки и с полотенцем в руках подходит к раненому.

— Молодец. Придешь теперь через четыре дня. Посмотрим, — и щупает, хорошо ли лежат бинты. — А пулю на память заberi. Дома покажешь.

Боец приподымается, тянется здоровой рукой за рубашкой и... Бог ты мой... Седых...

Круглое, с белесыми бровями, по-прежнему розовое даже после операции лицо его расплывается в такую очаровательную, сияющую улыбку, что я, забыв о костыле, на одной ноге подскакиваю к столу.

— Ну и молодчина, Седых...

Целуемся, радуясь друг другу, куда-то в уши.

— Керженцев, Керженцев, осторожнее все-таки, — слышу голос Веры Афанасьевны за спиной. — После операции все-таки...

— Хорош после операции... Чуть позвоночник мне не сломал от радости...

Потом мы сидим на моей койке и курим табак. Он мало изменился — такой же свеженький, ясный, только вместо пушка на щеках появились маленькие, реденькие еще, жесткие волосики. По-прежнему ковыряет ладонь. И в то же время появилось что-то новое, неуловимое, появляющееся после нескольких месяцев пребывания на фронте, какая-то внутренняя уверенность, спокойствие, может быть, даже развязность. Возможно, это и есть обстрелянность — период возмужалости, юность всякого военного человека.

Седых рассказывает о своей жизни с момента нашего расставания — обычную, всем нам хорошо знакомую, мало чем отличающуюся одна от другой, но всегда с интересом слушающуюся историю окопного человека. Тогда-то минировали и почти всех накрыло, а тогда-то, когда устанавливали «бруно» Игорю Николаевичу (так он стал называть Игоря), пулей отбило каблук, а ему, Седых, в трех местах планшетку продырявило. А потом они три недели сидели в окружении в литейном цеху «Красного Октября», и немцы их бомбили — спасу не было, и жрать было нечего, а главное — пить, и он четыре раза ходил на Волгу за водой, а потом... Потом опять минировали, опять «бруно» ставили...

— Заправским минером стал, а Седых?

— Да ничего, — улыбается он. — Игорь Николаевич не ругаются... Как-то раз с ним вдвоем за ночь 150 ЯМ-5 поставили. Во взводе только я и он остались... — и он ухмыляется, потирая здоровой рукой подбородок. — Часто вас вспоминали... Первые дни особенно... Игорь Николаевич плавали еще тогда в саперном деле, да и я-то не очень... Все говорил тогда: «Эх, Юрки моего нет — это про вас, — посоветоваться не с кем...» Командира взвода на второй день убило. Толковый был парнишка, все знал по саперству. Так мы с Игорем Николаевичем запремся в землянке и начинаем колупаться во взрывателях...

— Ну, а теперь как?

— Теперь? Ого как теперь! Командир полка знает как их уважают? К звездочке представили... — Он уголком глаза взглядывает на мою лишенную всяких знаков отличия рубашку и смущенно умолкает.

— А ты вот, я вижу, уже получил... Я знал, что ты получишь — помнишь, у костра тогда спрашивал все, за что ордена дают?

— Помню... — Седых принимается за ладонь. — Вы тогда еще говорили, не так просто, мол, получить...

— Ну, и как же на самом деле оказалось — просто или не просто?

Седых перебирает завязки на кальсонах, наматывает на палец.

— Бог его знает...

— Как так — бог его знает... Ведь не за зря же дали...

— Должно быть, не за зря, — еле слышно говорит он и все наматывает и разматывает завязку вокруг пальца. — Сказали как-то вечером Игорь Николаевич — я как раз с задания пришел — иди, мол, Седых к майору, командиру полка, — вызывают тебя. Я и пошел. Ну, и дали мне майор коробочку такую картонную, а в коробочке орден...

Все смеются.

— Выходит, значит, совсем просто... — подмигивает одноногий Ларька. — Пошел и получил. А мы вот, грешные, думали, что для этого что-то особенное надо сделать.

Седых вконец смущается и не знает, что ответить. Старательно стряхивает пепел прямо на пол, между ног...

— Ну, а Валега как, живой? — не подымая головы, спрашивает он.

— Живой, как же. Лошадей пасет на этой стороне. И Ширяев — комбат живой.

— Старший лейтенант? Командир батальона?

— Начальником штаба у меня в полку.

— Вот бы повидать... Какой командир батальона был... Ой-ой-ой. Держись только.

И мы начинаем вспоминать Оскол, июльские дни...

— А помните, товарищ лейтенант, как тогда в сарай-

чике лежали и из пулемета строчили? Там где Лазаренко убили?

— Как же... Ты тогда еще на стропилах сидел и вшей бил...

— Теперь уже нет, товарищ лейтенант. Всех вывел. А тогда в Сталинграде, в первый день, помните, как вы с Игорем Николаевичем до стирки все из-за стола выбегали — почесаться? А потом мы с Валегой часа три белье выветривали.

— Не вспоминай, Седых. Вспомнишь — так и сейчас чесаться начинает.

— Что же вы хотите, товарищ лейтенант, три недели по-настоящему не мылись. Конец не малый сделали — километров с тысячу.

— Тысячу не тысячу, а штук шестьсот отмахали.

Седых вздыхает и поправляет больную руку.

— А ты молодец все-таки, — говорю я. — В плече ковыряются всей пятерней, а ты — ни звука.

Он ничего не отвечает, потом встает.

— Ну, я пойду, товарищ лейтенант.

— Куда?

— Да там в коридоре у меня место.

— Завтра сюда перейдешь. Будочка вот выписывается — займешь его место.

— Так это ж командирская.

— Командирская, не командирская, а перейдешь сюда. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

Седых переходит к нам. И сразу все хозяйство переходит в его руки. Ругается с сестрой-хозяйкой из-за чистого белья, разносит хлеб, ремонтирует репродуктор — где-то и этому научился, растапливает печку, достает где-то роскошную 12-линейную лампу. Ни минуты спокойно не сидит.

— Я вам там белье чистое достал. Под подушку положил. С пуговицами.

Или:

— В тумбочку я сметаны баночку поставил. Густая, хорошая.

По субботам мы ходим с ним в баню, и там он мылит мне левой рукой спину, добираясь чуть ли не до са-

мых ребер, а я скребу ему голову и помогаю натягивать рубаху. И все это получается у него как-то весело, бодро, без всякой навязчивости.

По вечерам после ночной сводки, когда постепенно все засыпают и только в коридоре шушукуются парочки, Седых забирается с ногами ко мне на койку и начинаются бесконечные разговоры обо всем, что за день приходит ему в голову. Включается, конечно, и Никодим Петрович — он страдает бессонницей и никак не может заснуть. Удивительно много он все-таки знает, этот старый счетовод. Когда по радио передают Указ об учреждении специальных медалей за оборону Сталинграда, Одессы и Ленинграда, он нам читает целую лекцию об орденах, из которой мы узнаем, что полному георгиевскому кавалеру (четыре креста, четыре медали) даже генерал первым козырять должен был, что кавалеров английского ордена Бани не может быть больше 86-ти и что единственный русский, получивший этот орден, был Барклай-де-Толли, и что орден Подвязки носится под левой коленкой и только по большим праздникам, и еще целую уйму вещей, которых мы бы никогда и не узнали, если б не лежали с ним в одной палате.

Так проходит декабрь — тихий, снежный, с бесконечными вечерами и мохнатыми, точно плюшем обросшими, белоснежными окнами.

Незаметно и Новый год подобрался. Новый год... Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и позддравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли...

А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили Абрау-Дюрсо, ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Несте-

ровской горки, пока у санок не отскочили полозья...

...Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то... Что там в Киеве сейчас? Живы ли мои старики? С чего они живут? И как живут? И можно ли это назвать жизнью? Продают понемногу вещи... Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей шестьдесят пять лет. Сорок пять из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо, и воды принести, на пятый этаж тащить ведра, и за бабушкой ухаживать. Она, правда, всегда молодецом была и до последнего времени сама на базар ходила, но восемьдесят семь лет все-таки восемьдесят семь. Две женщины, две старые женщины совсем одни... А кругом чужие, наглые лица... А может... Нет... Зачем им старики, зачем им женщины? Не может быть... Не должно быть...

А мы, черт, здесь, за тысячу километров, жрем булку с маслом и Седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом, чего-то нарезает, сервирует...

— Чего загрустил, Керженцев, а?

Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи.

— Да так, капитан, взгрустнулось чего-то. О доме вспомнил.

— О доме... — Он качает головой и привычным жестом поглаживает лысину. — О доме... А где ваш дом?

— В Киеве.

— Да-да-да, вы говорили. Мать, кажется, у вас там?

— Мать, бабушка. Старушки. Совсем одни.

— М-да, — он опять поглаживает лысину. — А у меня вот и дома даже нет. Все немцы уничтожили. И дом, и жену, и двух детей. Один сын только остался — танкист, майор...

Впервые я вижу Никодима Петровича не улыбающимся.

— Как же они погибли?

— Да что рассказывать... Погибли и все... Одна бомба и... все. Ни жены, ни детей... никого...

Он порывисто встает и выходит в коридор.

Ларька лежит на койке и бречит чего-то на мандолине. Бояджиев тоже лежит, насвистывает. Один Седых возится. Из Москвы передают эстрадный концерт. В печке уютно потрескивают дрова.

— Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант?

Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно.

— Да, да... Будем начинать... Ларька, Бояджиев! Отставить концерт! Скоро двенадцать... Никодим Петрович... Товарищ капитан! Сбегай, Седых, он в коридоре должно быть...

Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными, как лед, хрустящими солеными огурчиками.

— На передовой салют, вероятно, по фрицам дают... — мечтательно говорит Ларька, разливает самогон и прячет бутылочку под стол. — С Новым годом поздравляют...

— С Новым годом поздравляют... — как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезно, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. — Разрешите мне, друзья, тост провозгласить... Так уж завелось...

— Просим, Никодим Петрович...

— Давай, давай, капитан... Чего-нибудь такое, заковыристое.

Ларька, по-моему, уже пьян — глаза блестят...

— Нет, не заковыристое, — Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то — не то в окно, не то еще дальше куда-то... — Мне хочется выпить, друзья, за то... — Голос его чуть вздрагивает. — Вот мы с вами лежим в этой палате... Я, Керженцев, Бояджиев, Ларька, Седых... Разные все люди. Я вот старик, а Ларька и Седых совсем еще дети... И жили мы как-то, каждый по-своему... У каждого были свои интересы... Один дома строил, другой на сцене выступал — глаголом, так сказать, сердца зажигал, третий — не знаю что там на заводе — напильником работал... А я вот считал... Сорок лет считал... А по вечерам в шахматы с сыном играл, в театр ходил, двух инженеров вырастил... Каждый по-своему жил. А вот случилось, и собрались мы все в этой палате, чужие, незнакомые люди... И дома наши где-то далеко... И в них, может

быть, даже немцы... — Он проводит рукой по лысине. — Отвык пить. Голова немного кружится... Простите... Но я хочу сказать, что мы вот скоро месяц как живем в этой палате... И мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине... На сердце... Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности... А внутри одно, одно и то же, одно и то же... Сверлит, сверлит... Одна мысль... только одна... Прогнать их к черту. Всех до единого... До единого... Правда?

Голос его опять вздрагивает. Он останавливается, обводит всех нас глазами...

Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз...

— Нескладно что-то у меня выходит... По-газетному как-то... Но вы понимаете меня, правда? Так вот... Странный мой тост будет... Обычно говорят — дай бог нам встретиться следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот... Я хочу выпить за то, чтоб первый Новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями и чтоб... Ну, вот и все... Давайте выпьем... И чтоб скорей этот год пришел...

Ларька ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко, прямо в губы целует Никодима Петровича.

— Мировой старик... Ей-богу, ми-ровой!

Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. Все жуют... И вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос:

«...В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковые дивизии, 71, 76, 79, 94, 108, 113, 297, 295, 305, 371, 384 немецкие и 20 румынская пехотная дивизии, 1 румынский кавалерийский дивизион и остатки 44, 376, 384...»

— А ну, подкрути, подкрути, Седых...

«...Три дивизии Равенна, 3-я дивизия Челлера, 5-я дивизия Кассерия, 2-я дивизия Сфорцеска, 9-я дивизия Пасуби, 52-я дивизия Торино, 1-я бригада чернорубашечников...»

— Здорово, черт возьми!

А Левитан свое:

«...А всего по всем трем этапам, за шесть недель, с 19 ноября по 31 декабря освобождено 1589 населенных пунктов, убито 175 000 солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650... самолетов 4451... автомашин 15 049...»

Ларька прыгает на одной ноге и размахивает костылем:

— 15 000 автомашин! Подумать только... 15 000...

Опять наливаем. Опять чокаемся. Опять наливаем...

— Вы что, с ума сошли? — в дверях Варя. Взгляд испуганный.

— На пей... — подскакивает Ларька. — Ты представляешь, что это значит, Варечка? 15 000 машин... 137 000 пленных.

— И еще 650, — Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. — Пить так пить... Давай поцелуемся, Варечка...

И они целуются — крепко, в обе щеки, по-русски — раз, два, три...

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

**ПОСЛЕДНИЕ
ЗАЛПЫ**

ПОВЕСТЬ

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать — горделиво,
Не клонясь головой.
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

А. Твардовский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты.

Он шел по высоте в черной осенней тьме, ветер густо шумел в вершинах сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом.

Редкие ракеты извивались над немецкой передовой, их сносило, они догорали за темным полукружьем соседней высоты. Молчали пулеметы. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их.

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел — руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, — и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных, холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не

раз — и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись, главным образом, тем, что четыре дня назад, при взятии города Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

— Часовой! — строго окликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.

Ответа не было.

— Часовой! — повторил он громче.

— А?

Что-то черное завозилось, шурша плащ-палаткой, возле входа в землянку, и голос из темноты отозвался сдавленно:

— А! Кто тут?

— Что это за «а»? Черт бы драл! — выругался Новиков. — В прятки играете?

— Стой! Кто идет? — преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата.

— Проснулись? Что там за колготня в землянке? — спросил Новиков недовольным тоном. — Что молчите?

— Овчинников чегой-то шумит, товарищ капитан, — робко кашлянув, забормотал часовой. — И чего они разоряются?

Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Среди дыма плавали фиолетовые свечи немецких плошек, мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат — все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом, ударил кулаком по столу, неторопливо встал. Небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, он поднял наполненный стакан, крикнул хрипло и властно:

— Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы? Пить всем!

Смутный рев голосов ответил ему и стих: все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.

— Значит, пыль столбом? — произнес он, хмурясь, и подошел к столу. — И санинструктор здесь?

То, что веселье это происходило в восьмистах мет-

рах от немецкой передовой и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени и покачиваясь взад и вперед, разговаривала с осоловело расплывшимся замковым Лягаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом.

«Смеется каким-то жемчужным смехом, — не без раздражения подумал Новиков. — Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову. Зачем ей это?» И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова, спросил:

— Что у вас тут? Свадьба?..

Он произнес это, должно быть, грубо — все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя улыбающимися глазами ему в глаза.

— Да, именно, — сказала, откидывая голову, — здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников! — приказала она. — Дайте водки капитану!

Новиков молчал. Она не была пьяна, кажется (а вообще — не поймешь!), и дерзко глядела на него снизу вверх яркими глазами, — тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, крепкая маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем.

Не раз ловил себя Новиков на том, что его необычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора, — он почувствовал, что покраснел на виду мгновенно притихших солдат, и, разозленный на себя за это, резко сказал:

— Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор! — И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: — Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!

Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:

— За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не признаете? Двадцать шесть стукнуло. Лягалов, нале!

комбату! Ломанем, товарищ капитан?.. Чтоб пыль на всю Европу, а?..

Замковый Лягалов, солдат пожилой, некрасивый, низкорослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, помигал конфузливо на Овчинникова, на комбата, неуверенно налил из фляги полную кружку, протянул Новикову:

— Товарищ капитан, не побрезгуйте, стало быть... Чистая-а!

Считался Лягалов непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Лягалова, криво усмехнулся:

— Поздравляю. — И, ссутулившись, шагнул к двери.

Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно оттого, что он только что внес в землянку, к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием, — все, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Ходили слухи: она набила морду и едва не застрелила адъютанта командира полка. Однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи: говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую точеную фигурку, ее порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. Оттого, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. В первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он с ней нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях — не божий одуванчик, не то видела! После, лежа один в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, какое испытывал, когда ругался, как бы не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняла, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие, — и не мог объяснить себе то внезапное и неприятное раздражение, которое

она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем.

Выйдя из землянки, Новиков долго стоял в осенней тьме, обдуваемый холодом. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, Лену, обидел тогда, когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его.

Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов; и оттого, что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, как бы забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков испытывал знакомое чувство тоски.

Ощупью нашел пенек — видел его еще днем, — сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина — второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег. Там не взлетали ракеты.

— Я пошла! — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова.

Из землянки вырвался, стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в четырех метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры он узнал Лену. Она остановилась возле, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет — среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с непонятно решительным выражением. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь, из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул хриловатым голосом:

— Ты куда ж, Леночка?.. Постой!

— Я стою. Ну, а вы зачем? — спросила она негромко. — Я и сама дойду!

Он подошел к ней, произнес требовательно:

— Куда?

— К разведчикам. Они здесь недалеко, — ответила она насмешливо. — Не привыкла я к вашей багарее. Не похожи вы на разведчиков, лейтенант...

Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом:

— Не похожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пули встану? Хочешь? Не знаешь ты!

— Ну, этого не надо! — Она усмехнулась. — Глупость это!

Тогда он сказал с отчаянием:

— Так, да? Все равно не отпущу! Ты наших не знаешь!

Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»:

— Уйди-и, не справишься ты со мной... Губы у тебя мокрые, лейтенант...

Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, стой!» — и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, быстро пошел к своему блиндажу.

Блиндаж был полуосвещен сонным, желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежалой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал — устало подергивались брови, потухшая сигарка прилипла к оттопыренной губе, другая — свернутая — заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок: из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусоленного чернильного карандаша, измятый листок, вырванный из тетради, ровные, аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками. Видимо, ел и писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некрасивая...»

Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину, сбоку нар, на обычное свое место. Закрыв глаза и будто погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязных людских голосов, и мутно среди них колыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова — обычный, непонятный мгновенный сон.

Он проснулся от глухого гула, давящего на голову, вскочил, пьяный от сна.

— Что? Позывные? — спросил хрипло. — К телефону?..

— Дальнобойная высоту накрыла... — ответил кто-то.

Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились вскочившие солдаты — все глядели отяжелевшими от сна глазами на крупно трясущийся потолок землянки. Сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там, вверху, что-то гигантски огромное, душащее, тяжкое, с хрустом, разламываясь грохотом, рушилось на высоту, сотрясало ее. Не стало слышно стонущего шума ветра, покрытого железной толщей разрывов.

— Дальнобойная... накрыла, — шепотом выдавил связист Гусев, бледнея. — Воронки... с дом...

Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву:

— Спишь, тютя? А ну, что там, на передовой? Узнай!.. — И, застегиваясь, взглянув на Новикова, добавил иным тоном: — Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха!

И тотчас повысил сочный, зазвеневший командными переливами голос:

— По места-ам! Вылетай к орудию!

— Отставить, — остановил Новиков, шагнул к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и, медленно разделяя слова, спросил: — Команда была от Резеды?

— Никак нет, — бормотал Гусев, обеими руками прижимая трубку к уху, и сейчас же пригнулся к аппарату. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату, по плечам Гусева. — Никак нет, — повторил он слабым движением губ, испуганно потирая круглую стриженую голову.

— Дайте трубку! Связист называется! Вы должны все знать! — сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота, нагретую трубку. — Резеда! Резеда! Какого дьявола! Что там? Резеда! Питания, что ли, у вас нет? — Покосился на связиста. — Проверяли связь?

— Я Резеда, я Резеда, — внезапно послышался в

трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: — Кто у телефона? Шестого к аппарату, Шестого к аппарату! Шестого немедленно к Резеде, немедленно к Резеде!.. Немедленно!

— Я Шестой, — объявил отрывисто Новиков, глядя в стоявший на снаряжном ящике котелок, полный бурой жижи. — Что случилось? Иду! Сейчас иду.

Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета; потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и легким щелчком выдвинул, проверил кассету и вновь втолкнул в рукоятку пистолета. Он сделал все это молча, неторопливо, и солдаты, так же молча, смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь напряженно к нарастающему реву снарядов. Новиков же ни разу не взглянул вверх, все хмурясь отчего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал:

— Ремешков, пойдете со мной!

Подносчик снарядов Ремешков, парень лет двадцати шести, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в шестимесячном отпуске дома, на Рязани, повернул к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо — в расширенных глазах толкнулась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:

— Нога у меня... нога... — и, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову. — По горам ведь... нога у меня, товарищ капитан. Другого бы кого, пока нога-то...

— Другого? — переспросил Новиков, заученным движением сунув пистолет в кобуру. — Другого, говорите?

Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что гот отлеживался шесть месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.

— Другого, говорите?

Ремешков молчал. Молчали и солдаты.

Блиндаж сотрясало мелкой дрожью, пол туго ходил под ногами, в короткие промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. Теперь уже всем было ясно, что это не обычный артналет, не обычная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних тяжелых боев при взятии города Касно, на границе Чехословакии.

И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю от батареи осталось двадцать человек старых солдат, а Ремешков прибыл в батарею днями, прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым молочным цветом лица после домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новикову.

— У нас в батарее приказание два раза не повторяют! — проговорил он жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.

— Товарищ капитан!..

Ремешков просительно шагнул следом, вдруг нагнувшись так, что стала видна красная, крепкая шея, со стоном потер колена, прошептал:

— Товарищ капитан, разве я... Жалости нет? А?

— Нет! — сказал Новиков и вышел.

Дверь открылась, впустив грохот разрывов, и хлопнулась. Ремешков стоял, сильно побледнев, искалочно оглядываясь на солдат, и, потирая грудь, прошептал умоляюще:

— Эх, звери вы!.. Нога ведь... Жалости нет?!

— Жалости? Тютя пшенная! Он еще думает, калган рязанский! — звонким, озорным голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб. — Морду нажевал в тылу и думает, все в порядке! Еще ему приказ повторять! Воевать приехал или сало жрать?

Было командиру орудия Ладье лет двадцать. Сильный, светловолосый, он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и набок. Весь подогнанный, в немецких, не по уставу, новых сапожках, с немецким тесаком на крепко стянутом ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.

— Ну? — крикнул он. — Думать потом будешь!

— Озверели, прямо озверели... — жалко и затравленно бормотал Ремешков, озираясь.

Командир второго орудия сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя, наматывал портянку. Подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно:

— А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал? Понял или нет? Вот автомат возьми. — И, обращаясь к Ладье, прибавил ворчливо: — Оно верно, после теплой печки да жены под боком умирать неохота. Сам небось так бы, Ладья?

— А я бы и в отпуск не поехал! На кой леший он мне! — сказал Ладья решительно. Потом взял лежавший на нарах, крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его в воздухе с насмешливой улыбкой, говоря:

— Давай, давай катись колбасой, тютя, — и подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину.

Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Взлеты огня беспорядочно выхватывали из тьмы оципаные стволы сосен. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах. Она сыпалась на фуражку Новикова. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудий на передовую, и, подняв голову, посмотрел в сторону города Касно. Все пространство за высотой — километра на два — было освещено как днем. Гроздь ракет торопливо повисали там, пышно иллюминируя низкие облака. В них взвивались наискось красные трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось плотной багровостью, — что-то горело в городе.

— Пойдете по проводу! Я за вами! — приказал Новиков Ремешкову. — Берите провод, он в моей руке! Вот!

— Провод? — едва слышно переспросил Ремешков.

И тотчас Новиков почувствовал прикосновение чужих потных пальцев к своей руке, услышал рев над головой — будто огненный шар, ослепив, разорвался в

небе. Сверху ударило жарким воздухом, бросило Новикова на землю. Снаряд лопнул, задев о ствол сосны.

«Разобьет орудия», — беспокойно подумал Новиков и сейчас же услышал стонущий голос Ремешкова:

— Ударило... по голове ударило... товарищ капитан... Всего ударило!

— Э, черт! — с досадой сказал Новиков, подымаясь. — Ранило, что ли? Где вы тут... ползаете?

В бледном отблеске расцветенного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел на Новикова опустошенными, рыскающими глазами, и это выражение успокоило Новикова, — раненые смотрели иначе.

— Крови нет? — спросил он и добавил насмешливо: — Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли, берите провод.

Ремешков поднес к глазам белые ладони и, странно всхлипнув, пробормотал облегченно:

— Взрывной волной меня...

— Не взрывной волной, а страхом.

Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям.

В трех шагах от землянки Овчинникова почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру, стоявшую в рост.

— Кто тут? Стой! — грозно рявкнул в лицо человек, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Порохонько; отведя рукой ствол автомата, сказал:

— Свои. Близко подпускаете! — И, сразу же заметив возле Порохонько освещенную слабым заревом тонкую фигуру Лены (стояла неподвижно, прислонясь спиной к траншее), спросил ненужно: — И вы тут? Вы же к разведчикам хотели идти?

— Хотела... — неохотно ответила она и вдруг спросила с вызовом: — А вы откуда знаете?

Новикову стало жарко, не рассчитав неожиданности вопроса и, увидев в больших вопросительных глазах на близком ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Порохонько, хмурясь:

— Орудия целы?

Порохонько, как бы поняв все, лениво поскреб темнеющую щетину на узком подбородке, непонятно хихикнул.

— Ось кладет, ось кладет снаряды, як пишет... И кидает и кидает, сказывся, чи що, фриц треклятый! А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?

Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, однако Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато:

— Фрицам в зубы, куда еще!.. — И голос его покрыло разрывом; дым застлал зарево.

Он нырнул головой в траншею, побежал, горбато согнувшись.

— Товарищ капитан! — безразличным голосом окликнула Лена. — Подождите.

Он остановился.

— Я с вами на передовую, — сказала она, пододвигая. — Мне нечего здесь делать. Видите, что там? А я ведь в разведке привыкла к передовой.

— Привыкли? — Он усмехнулся.

Это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость.

— Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками! — сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти «дамские штучки». — Что, спрашивается, я теряю тут с вами время?

А она будто вздрогнула — так быстро подняла голову, некрасиво скривив рот, — сказала страстно и тихо:

— Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу! Терпеть не могу! Другое бы сказала, да Ремешков здесь!..

— Спасибо, — произнес он преувеличенно вежливо. — А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев.

И по тому, что она говорила с ним грубо и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие отношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно проходящую боль.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Весь центр этого польского города с тяжелой готической высотой костела, прочно стоявшего среди каменной площади, на которой возле железной ограды чернели мертво обуглившиеся немецкие танки, и пустынные улицы, поблескивающие красными черепичными кровлями, наглухо опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, каменными мостовыми — все было залито недалеким заревом, встававшим над западной окраиной.

Врезаясь в зарево, искрами рассыпались над крышами очереди пуль. Грубый, взхлеб, треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, твякающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на каменных мостовых, жаркий ветер вздымал ворохи сухих листьев, швырял в лицо, корябая, как горячим наждаком.

Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом, с крыш ссыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Достигнув последней своей точки — пронзительного скрежета трамвая на поворотах, — звуки обрывались.

Новиков и Ремешков упали рядом возле какого-то подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова, и горячий, будто разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему:

— Побрился я... Все... Зачем я побрился, а?..

— Что? — не понял Новиков. — Что бормочете?

Ремешков, втянув голову в плечи, как бы не видя Новикова, шептал с придыханием, будто из ледяной воды вынырнул:

— Побрился я, побрился... С Днепра примета... перед боем... Побреешься, или чистое белье наденешь, или в баню... У меня дружка так... под Киевом.

— Молчите! — морщась, оборвал его Новиков. — У меня в батарее будете бриться. И в баню ходить. — И добавил тоном, не допускающим шуток: — Умрете, так хоть выбритым. А борода растет и у мертвецов. Не видали? — И злым движением встал. — Встать! Вперед!

Ремешков поднялся, пригнувшись, по-бабьи расставив полусогнутые ноги, стоял возле каменной стены особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин; сдерживая дыхание, забормотал:

— Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан! Со всех сторон бьют... Окружают?

В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов.

Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков. Город обстреливали дальнобойные батареи, снаряды прилетали с запада и юга: было такое ощущение — Касно окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства, — вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат; немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.

— Окружили, отрезали, обошли! Сорок первый год вспомнили? — сказал Новиков. — Вперед! И не на полусогнутых, черт дер!

И побежал в глубину улицы.

Как только достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый, раскаленный ветер. Он, как в воронке, крутил по всей окраине огромные метели огня, искр, пепла. Впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды стоял в воздухе. Над озером, в дыму, сталкиваясь, перекрещиваясь, мелькали огненные нити пулеметных очередей; и частые вспышки орудийных зарниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрекращающейся автоматной стрельбы — все это бросал и рвал над окраиной опаляющий до сухости в горле ветер.

— За мной, бего-ом!

Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь возле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава. Когда Новиков спрыгнул, солдаты не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в обмотках.

— Артиллеристов не видели из артполка? — крикнул Новиков, наклоняясь.

Один из солдат, седой уже, снизу посмотрел серьезными слезящимися глазами, внезапно закашлялся, сотрясаясь, сделал какие-то жесты оттопыренными локтями и ничего не объяснил, — видимо, наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой, помоложе, будто оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову:

— Пехота мы, товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили... из боепитания... А артиллеристы там, во-он — на высоте...

До высоты — метров сто — шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. С хриплой руганью отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным от команд голосом:

— По домику, по домику! Вон они у забора легли!..

Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей — человек у пулемета повернул голову, крикнул сипло: «Ленту!» — и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, в розовую от зарева полутьню. Отстегнув флягу и запрокинув голову, стал пить жадными глотками. Когда Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие, черные, горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос — это был командир отделения разведки Горбачев.

— Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает? — удивился Новиков. — Где командир дивизиона? Здесь?

Горбачев, бедово прищурясь, отбросил в сторону пустую флягу:

— Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас. Начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков тут угрбило. Пока суд да дело, дай, думаю... шкуры фрицам посчитаю! — И спросил небрежно: — Разрешите, а? Пока суд да дело!..

В просторной землянке командира дивизиона, посреди роскошного лакированного столика, принесенного из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лам-

па. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу.

Командир дивизиона майор Гулько сидел, сутулясь, в расстегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. Худощавое лицо его с грустными, армянского типа глазами, как всегда, хмуро, широкие брови, сросшиеся на переносице, брезгливо морщились. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, часто веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался весело на спящих связистов, на стены землянки, задерживал оживленный взгляд на огне лампы и только не смотрел в сторону майора Гулько, будто опасаясь внезапно и некстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс; рукава засучены до локтей. С мрачно серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу: Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя волосатым носом, пригибался под нажимами ладоней ординарца, сидел, однако, с выражением независимым, был, казалось, всецело занят Алешиним.

Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько поднял глаза, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно:

— А, Новиков! — и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас прикрыл недовольными морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, проговорил:

— Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Под гитарку... Мм? Или санитарочка там у вас?

Был Гулько разведен еще задолго до войны, о женщинах не говорил всерьез, считал себя прочным холостяком и, быть может, поэтому постоянно подозревал

своих офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно лишь нерасчетливой молодости.

— Прибыл по вашему приказанию, — сухо доложил Новиков и подумал: «Обычное радикулитное настроение».

— Веселенькое дело, — продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую, морщась от дымка, вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, подняв брови, спросил трезво и громко, повернувшись к ординарцу. — Расходился? Мозолями кожу снимаешь? Рашпиль. Хватит. Сепуг¹. Побереги водку.

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на Новикова покрасневшими от напряжения, плещущими весельем глазами, — он давился от смеха. Гулько почесал спину, кряхтя, потом, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина, делая брезгливые глаза:

— Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу набраться серьезности. — И кивнул Новикову. — Садитесь, как можете. К столу. Что смотрите? На шнапс? Нет, вызвал вас не водку пить.

— Я не просил водки, товарищ майор, — сказал Новиков, садясь возле Алешина.

— Совсем приятно, — скептически проворчал Гулько, застегивая ремень. — Консервы, пожалуйста, покоvaryйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но как ни странно, и нам годятся.

Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и словно бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на НП возле стереотрубы — подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах, и без гимнастерки — ординарец пуговицу пришивал! В период обороны шлепал по блиндажу в мягких домашних тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гёте с недоверчивым выражением лица и, словно подчеркивая эту недоверчивость, перебирал

¹ Достаточно (нем.)

пальцами в носках. Было похоже: хотел он жить похлостяцки удобно, вольно, скептически презирая строевую подтянутость, однако большой вольности подчиненным офицерам не давал, и все же слыл за домашнего, штатского человека. Новиков же считал его чудачком, не живущим реальностью, и был с ним подчеркнута сух.

— Слушаю вас, товарищ майор, — сказал Новиков нетерпеливо.

— Дело вот какого рода. — Гулько прикурил от сигареты сигарету, выпустил струю дыма через рот и нос, недовольно покривился. — Фу, пакость! Солома, а не табак! — И концом сигареты обвел круг на карте, заключая в него Касно. — Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, так? Не пройдешь, естественно. А город этот — узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе, на север. Вдоль озера идет. К ущелью. Вся петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в двадцати от Касно. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии окружили, стиснули в Ривнях немецкую группировку. Очень сильную группировку. Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касно в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо. — Майор Гулько в раздумье пососал сигарету, держа ее меж пальцев, положил волосатую руку на карту. — Два дня город Марице окружен словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада — захватить Касно, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановочка. Таковы делишки. — Гулько глубоко затянулся. — А вообще не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии... Слышите музыку с запада? Мм?..

Майор Гулько показал сигаретой на трясущиеся от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, на карту, звенело стекло лампы, будто сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось рукой придержать лампу — жалобное дребезжание раздражало его.

Младший лейтенант Алешин напряженно и серьезно смотрел на карту. Вдруг снова заулыбался, встал и начал отряхивать фуражку, вытирать шею, весело глядя на Новикова.

— Ну вот, — сказал он, — за шиворот насыпалось! Просто баня.

Никто не ответил ему. Гулько, пожевав сигарету, досадливо сплюнул табак, по-прежнему ленивым голосом продолжал:

— Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь. На живописном берегу озера. Направление стрельбы — ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас: танки пятого корпуса — справа. Плюс иптаповский полк и гаубичные батареи. Слева — чехословаки генерала Свободы. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин! — чуть поднял голос Гулько. — Покажите своему комбату местостояние батареи.

— Слушаюсь! — живо ответил Алешин.

— Пе-етин! Горячей воды, бриться! — крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, кивнул офицерам, ворчливо говоря: — Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность!

«Черт совсем возьми со всей его чистоплотностью, — подумал Новиков, подымаясь, оглядывая чистую эту землянку со слабым запахом одеколona и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос. — Живет как дома!» И, не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой потуге удобства быта, от которой словно веяло прежними холостяцкими привычками майора, Новиков спросил официально:

— Разрешите идти?

И первый вышел из землянки в траншею.

Сразу горьковато-сырой воздух, пропитанный гарью тола, ударил по лицу. Ветер гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, частое и тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское немолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над озером, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое вдоль возвышенности озеро, налитое огнем пожаров.

Пули торопливо шелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков вдруг схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался.

— Что? — крикнул Ремешков за спиной.

— Земля, — ответил Новиков.

— А-а...

Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера; тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И оттого, что не случилось этого и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжало знобящим холодом, ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.

— Скоро там, Алешин?

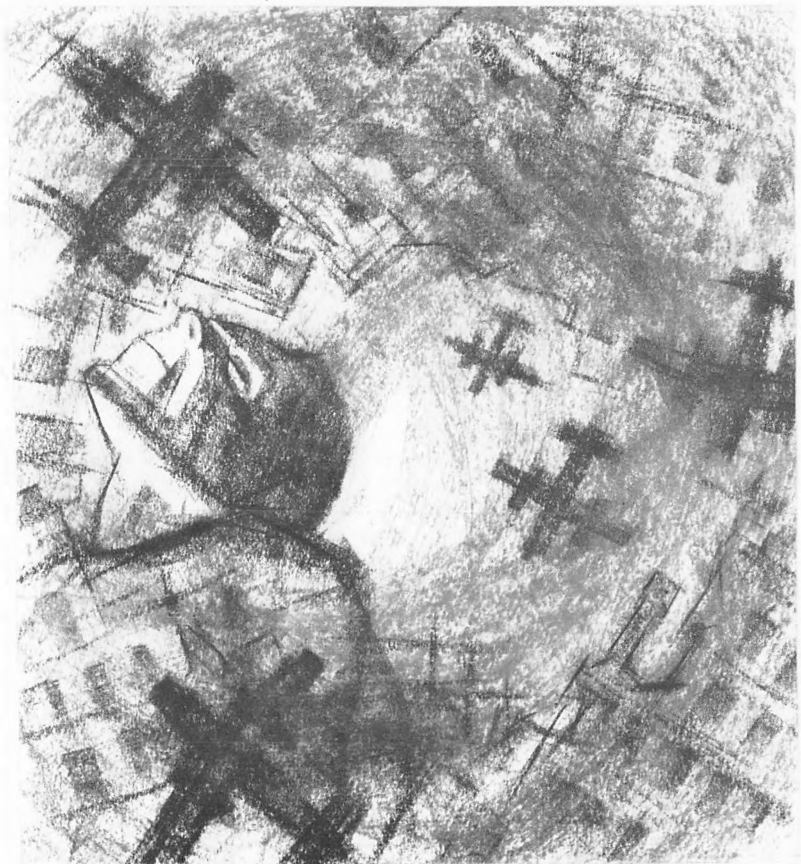
— Готов, товарищ капитан! Идем! — послышался голос младшего лейтенанта.

Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, казалось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков.

«Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин, был!» — пожалел завистливо и отчаянно Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с неприязнью: «Фальшивят они, играют, веселость создают. Не от души это все. Кому война, а кому мать родна!»

— Э, кого тут занесло? Кто тут на карачках ползает? — живо сказал Алешин и засмеялся непринуж-





денно молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова.

И тогда Новиков позвал строго:

— Где вы, Ремешков?

С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли, хромя, подошел к Новикову, тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом. Спросил:

— Что вы?

— Нога... — Ремешков застонал, потирая колено, плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.

— На кой... прислали вас ко мне? — не выдержал Новиков. — Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? Шесть месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили — терпите! Не то терпят! Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того что вы солдат! Перестаньте морщиться! И стонать! Лучше «сидор» скиньте, пуда два за спиной носите!

Новиков понимал, что говорит жестоко, но не сдерживал себя. Три раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там и потом в части ему не только не приходилось показывать на людях свои страдания, но, наоборот, скрывать, стыдиться их. Новиков повторил:

— Перестаньте стонать!

Ремешков перестал стонать — стучали зубы, — но вещмешок не снял, а только потрогал ляжку трясущимися пальцами.

— Да оставьте его здесь, товарищ капитан! — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. — Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.

— Он пойдет с нами.

Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, решительно вылез из окопа.

Ремешков оставался в траншее последним. Подняв голову, он увидел, как пули со свистом пронеслись над головами Новикова и Алешина. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложу автомата. Раздувая ноздри, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало. «Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют, если не оглянусь...» — подумал он и оглянулся сначала направо, потом налево и,

будто в пелене, увидел розовые от зарева лица ближних солдат в траншее. Со странным коротким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра. Спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя ладонями острые, разбросанные по земле осколки, он побежал за Новиковым, готовый закричать от ожидаемого удара в спину.

«Там вещмешок за спиной, вещмешок! Пулями не пробить! — мелькало в его голове. — Нет, нет, сразу не убьет, ранит только...»

Он догнал офицеров возле крайних домов и, приклонясь вещмешком к забору, не мог сказать ни слова, только хрипло дышал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В два часа ночи, после рекогносцировки, Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудия Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера.

Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в пяти шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте — копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало алыми тихими отблесками, на той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.

Здесь, в четырех километрах на север от основного боя и в двухстах метрах от немцев, смутное чувство тревоги охватывало Новикова. Казалось, не доставало чего-то ему, что он непоправимо ошибся, однако не мог ясно найти, уловить точные причины того, что беспокоило его, как пристальный взгляд в спину. Озеро уходило вперед, слабо тускнея, северная оконечность упиралась в черный кряж Карпат, далеко справа розоватой стрелой уносилось из Касно на Ривны шоссе, терялось в ущелье; оно мрачно клубилось сизо-черным туманом.

— Товарищ капитан! Хотите великолепные сигареты? Польские! «Монополия»! О, черт, смотрите, что в городе!

Подошел Алешин.

Молча Новиков отогнул рукав шинели, взглянул на часы, на фосфоресцирующие цифры, потом посмотрел назад — на отдаленный город, залитый заревом. Там беспрестанно возникали косматые звезды разрывов, вспышки танковых выстрелов вылетали навстречу друг другу, будто сталкивались над озером, которое километров на пять вытянулось вдоль границы Чехословакии. Ветер дул с севера, гудел по высоте, где сидел Новиков, и приглушал звуки боя.

— А здесь молчат, — сказал Новиков и вдруг, увидев над огневой слабый отсвет, спросил: — Кто курит? Прекратить! Богатенков, что ли, терпеть не может?

В ответ — тишина.

Слабое свечение над окопом исчезло. Кто-то надсадно закашлялся там, будто поперхнувшись. Младший лейтенант Алешин вынул из кармана шинели огромную коробку трофейных сигарет, озадаченно толкнул коробкой козырек фуражки, сдвинул ее на затылок, отчего юное лицо стало наивно-детским, отчаянным. Сказал досадливо.

— Черти!.. — И, помолчав немного для приличия, заговорил веселым голосом: — Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Басейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте, рядом тут. Вон, внизу...

— Пустой особняк?

— Совершенно.

Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в ста пятидесяти от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, вместо ручек поблескивали медью оскаленные морды львов.

Они вошли в парк, угрюмо-темный, огромный. И он поглотил их печальным шорохом, хрустом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуогоренных лип. Сухие листья летели в темноте, цеплялись, липли к шинелям. Новиков слышал, как сапоги с мягким звуком уходили в плотный увядающий настил, отовсюду из засыпанных листопадом аллей веяло безлюдьем, грустно-горьковатым, дымным запахом поздней осени.

В глубине парка возле темного дома гладко блестя заросший кустами бассейн, в густо-черной воде мирно плавали листья, собравшись целыми плотами, и Новиков впервые за много дней увидел здесь, между этими плотами-листьями, острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема. Лягушка, испуганная шагами, звучно шлепнулась в воду, тотчас звезды закачались, заструились.

Новиков остановился, посмотрел. Он любил только лето, привык в годы войны ненавидеть осень за раскисшие от дождей дороги и внезапно подумал, что стал забывать неповторимые особенности того довоенного мира, ради которого ненавидел и осень, и немцев, и самого себя за тоску по тому миру. Услышав голос Алешина, Новиков обернулся:

— Вот чепуховина, что это? Что за насекомое?

Младший лейтенант Алешин с детски озорным любопытством посветил в воду карманным фонариком, и Новиков неожиданно для себя проговорил, улыбнувшись:

— Бросьте, обыкновенная лягушка!

— Вот дура! — восторженно воскликнул Алешин.

— Дайте фонарь.

Новиков поднялся по ступеням застекленной террасы, зажег фонарик.

Первый этаж дома был пуст. В нем не жили, вероятно, больше недели, пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого жилья, незнакомой роскоши. На полированной мебели, на мягких сиденьях низких кресел — серый слой со следами пальцев. Везде признаки торопливого бегства: в углу холла темнел толстый ковер, свернутый в рулон; широкий, на полстены, сервант, искристо сверкавший стеклом, хрустальными рюмками, распахнут; ящики, заваленные столовым серебром, наполовину выдвинуты. Возле светились на ковре осколки фарфоровых чашек. Видимо, в поспешности искали самое ценное, что можно увезти, в злобе ломали, били то, что попадалось под руки и мешало. Зеркало трельяжа, — очевидно, прикладом — расколото посередине, перед ним на полу невинно розовела тончайшая женская сорочка с кружевами.

— Балбесы! — сказал Алешин гневно. — Что наделали, идиоты дурацкие!

— Кто там? Танцуют, что ли? — Новиков указал фонариком на потолок, где дробно гроыхали шаги, заглушенно проникали в нижний этаж голоса.

— Тут один разведчик, старшина Горбачев, — ответил Алешин, пожав плечами.

Светя перед собой фонариком, Новиков по плавно пружинящему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Смешанным теплым запахом духов, едкой терпкостью нафталина пахнуло навстречу. Зеленый полумрак дымом стоял в этой с низким потолком комнате, — видимо, спальне, — на окнах тщательно были задернуты тяжелые шторы. Трое людей были здесь. Двое незнакомых — офицер и солдат — с сопением возились возле шкафов, суетливо выкидывали оттуда шелковое женское белье, выбирая мужское, набивали им вещмешки, уминали кулаками. Разведчик Горбачев, высокий, гибкий в талии, сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету в уголке рта, презрительно цедил сквозь дымок:

— Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас... — И, увидев вошедших офицеров, лениво встал, не без достоинства и несколько небрежно козырнул, кивнул в сторону шкафов, снисходительно произнес:

— Интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают... Да кружева все. Ха!

— Кто приказал? — спросил Новиков, подходя к интендантам. — Я спрашиваю, кто приказал?

Один из интендантов, шумно отдуваясь, повернулся — был он потен, красен, коротконог, крючок шинели расстегнут, толстые щеки выбрито лоснились, лицо начальственное, виски седые — капитан интендантской службы. Разгоряченный, собрав веки в узкие щелки, спросил низким прокуренным баритоном:

— А вы кто такой? Что нужно? Что? Что такое?

— Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? — повторил Новиков, казалось, спокойным голосом и поднял на капитана глаза, вспыхнувшие гневным огоньком. — А ну, вытряхивайте из мешков все до последней нитки! И марш отсюда! Ко всем чертям!

Интендант, вытерев пот на квадратном лице, смеялся взглядом невысокую фигуру Новикова, заговорил самоуверенно:

— Прошу потише, капитан, не берите на себя много. Не для себя стараюсь, для вас же, солдат и офицеров, для медсанбата белье! Главное, спокойно, спокойно... Васечкин! Бери, и пошли! — командно рокотнул капитан в сторону солдата с унылым, болезненным лицом.

Солдат этот, растерянно опустив руки, топтался возле распахнутой дверцы бельевого шкафа. Потом, нерешительно оглядываясь, поднял четыре до тесемок набитых вещмешка. Два остальных взял, отпыхиваясь, тучный интендант, предупреждающе строго глядя на Новикова.

В то же мгновение Новиков шагнул навстречу, загородив дорогу, сказал сквозь зубы:

— Первую же сволочь, которая с бараклом переступит порог... Назад!

Сутулый солдат, словно толкнуло в грудь, попятился, путаясь сапогами в кучах разбросанного женского белья, неуверенно опустил вещмешок у ног. Капитан, сморщив покатый лоб, брызгая закипевшей слюной в уголках рта, крикнул:

— С дороги! Не лезь не в свое дело! Мальчишка!..

И в ту же секунду, издав горлом сиплый звук, рванул на боку кобуру нагана.

— Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку! — быстро и жестко сказал Новиков.

Младший лейтенант Алешин и следом Горбачев, пригнувшись, ринулись на капитана, и тотчас в углу слышалась тяжелая возня, злое сопенье капитана, умоляющие вскрики сутулого солдата: «Зачем вы, товарищ капитан?.. Зачем?» И когда интенданта, грузного, с гневно налитыми кровью глазами, выводили из комнаты, он упирался короткими ногами, сипло кричал:

— Наган отдайте! Личное оружие... Не имеете права! Не для себя белье, для медсанбата! Медсанбат разбомбило, ни черта не понимаешь! Молокосос!..

Вывели его. Шаги, крики капитана удалялись, стихали на нижнем этаже. Новиков подошел к столу, налил себе полстакана воды и стоя залпом выпил.

— Ну и мордач! Обалдел, просто обалдел! — почти восхищенно воскликнул Алешин, входя вместе с Горбачевым, оправляя ремень. — Вот игрушку взяли. — Он, возбужденный, вынул из кармана шинели наган,

положил перед Новиковым и, будто ничего не случилось, сел к столу, независимо пощурился на свет лампы под зеленым абажуром. Потом потянулся к ящичку, набитому плитками шоколада. С удивлением посмотрел на рисунок обертки: женская головка со смеющимися глазами, долька шоколада возле полуоткрытых губ; рядом чужие буквы на фоне башни, на железных пролетах. Сдвинув фуражку на затылок, прочитал, растягивая слова:

— Па-ри-ис, — и вскинул детски заинтересованные глаза на Новикова. — Что такое? Что за «Парис»?

— Это по-французски — Париж. Немцы еще жрут французский шоколад, — ответил Новиков. — А это Эйфелева башня. Конструкция инженера Эйфеля. Кажется, триста метров высоты. А впрочем, может быть, и вру. Забыл...

И, отодвинув наган к консервным банкам, отошел от стола. Внимательно оглядел комнату, повсюду разбросанное белье на ковре, двухспальную, распухшую развороченной периной кровать, мягкие кресла. Потом достал из ниши над широкой тахтой запыленную книгу, полистал, молча швырнул на пол, сунул руки в карманы, прошелся по глушащему шагу ковра.

— Немцы, — сказал он. — Здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры... Ясно... Курортный городок.

— Да шут с ними, товарищ капитан, — успокоительно сказал Горбачев, улыбнувшись глазами из-под черных, свесившихся на лоб волос. — Садитесь, закусим, чтоб дома не журились! Здесь продуктов — подвал! На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? А шоколад-то, разве это закуска? Плюньте. Ерунда!.. В подвале его штабеля...

— Вина? Пожалуйста.

Алешин отложил развернутую плитку шоколада, вопросительно посмотрел на Новикова, внезапно жарко покраснел. Взял рюмку, наполненную ромом. И как-то торопливо, неумело, давясь, выпил, потом, сморщась, долго мигал, вбирал воздух ртом, наконец выдавил:

— За победу! Лихая, фиговина. А крепка!.. — и, наклонясь к полу, будто уронив что-то, смахнул с ресниц выжатые ромом слезы. Выпрямился и уже с наиг-

ранным выражением лихости откусил половину шоколадной плитки.

Горбачев, выпив рюмку одним глотком, не поморщился, понюхал только корочку хлеба, стал тыкать вилкой в банку свиных консервов, подвигая их Алешину. Однако тот, жуя шоколад, замотал протестующе головой, говоря смело:

— Так привык. Спирт в Трамбовле котелками дули и даже ничем не закусывали! Верно, товарищ капитан? Помните? Ух, и рванули!

Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселым лицом, с резкими конопушками на носу; нравилось, как скрывал он юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Новиков знал: Алешин никогда не пил котелками спирт, в Трамбовле же, когда разведчики принесли канистру трофейного спирта, младший лейтенант, сославшись на дурачки болевший живот, пить вовсе отказался. Но сейчас Новиков сказал:

— Помню. Вы здорово тогда пили.

И вдруг улыбнулся, увидев, как Алешин, красный, сразу захмелевший, блестя глазами, разворачивал хрустящую серебристую обертку второй плитки шоколада, добавил:

— Очень здорово и лихо вы пили! Ну, пошли! Батарея должна уже прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти — гоните! Ясно?

— Слушаюсь!

Новиков взглянул на часы, пошел к двери. Алешин с видом разочарования рассовал по карманам четыре плитки шоколада, затем упруго встал, толкнул козырек фуражки со лба, начальственно строго кивнул Горбачеву:

— Чтоб все как в аптеке, ясно? — и двинулся за Новиковым старательно прочной походкой.

Когда шли по глухой аллее парка, едва заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип, и Новиков уже не смотрел на часы, — шагал по шелестящим ворохам листьев, глядя сквозь узорчатые очертания ветвей на высоту. Он прислушивался, и только по привычно знакомому перезвону валь-

ков, по отдаленным голосам команд на высоте, по крутой ругани ездовых понял, что орудия прибыли.

«С ума спятил, что ли, Овчинников? — подумал Новиков, ускоряя шаги. — Что галдят под носом у немцев? Что у них?» И приказал Алешину:

— Бегом! Базар устроили! У вас это?

— Не может быть! — ответил Алешин.

Бегом они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков увидел черные пятна орудий, повозок, лошадей,двигающиеся силуэты солдат, приглушенно скомаандовал:

— Тихо-о! Что у вас тут? Командир взвода, ко мне!

Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли возле орудий, и к Новикову, шумно дыша, подбежал весь пахнувший горячим, здоровым потом лейтенант Овчинников. Он коротко доложил о прибытии.

— Вы что, Овчинников? — тихо, сдерживая себя, спросил Новиков. — Батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, вам это не ясно?

— Ничего не ясно! — прошептал Овчинников возбужденным от недавних команд голосом. — Ерундовина! Что, орудия на нейтралке мне ставить? Не перепутал Ремешков, товарищ капитан?

— Нет. А в чем дело?

— Минное поле тут немецкое за высотой, вот что! Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло! — И Овчинников выругался. — Лошадь — вдребезги, хвоста не найдешь! Повозочного тяжело ранило. Ленка там с ним возится! Значит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты? — спросил он, как бы не веря еще.

— Да, без пехоты. Алешин здесь, на высоте, с орудиями. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?

— Думал, ошибся Ремешков, — странно потухнув, ответил Овчинников.

— Никто не ошибся. Занимайте позицию, и без шума, — повторил Новиков. — Где раненый? — И, не услышав, что ответил Овчинников, пошел по высоте, в сторону нейтральной полосы.

— Куда вы? На мины? — крикнул Овчинников и рванулся к Новикову. — Жизнь осточертела, товарищ капитан? Ленка там, и вы еще... Тут саперов вызвать...

— Саперы вызваны. Только они не разминируют, а минируют...

Новиков не договорил, голос Овчинникова срезало на крик: «Ло-жи-ись», — и тотчас в тишине раздались отчетливый хлопок, легкое, все нарастающее шипение. Новиков спиной почувствовал, что случилось что-то позади, и, быстро обернувшись, увидел: в белесо посветлевшем небе стремительно взвивалась мерцающая, разгорающаяся звезда, и такая же звезда неслась из глубины озера за высотой. И вдруг звезда рассыпалась над озером зеленым огнем, четко вычертив высоту, орудия, повозки, лошадей, фигуры солдат. И в те же секунды, пока ракета горела в небе, с конца озера, где должны были стоять орудия Овчинникова, красными стрелами посыпались на высоту трассы. Очень близко — за нейтральной полосой гулко заработал пулемет. И снова взлетела ракета, немного правее, и оттуда тоже брызнули цепочки очередей по высоте.

— Повозки — в укрытие! — скомандовал Новиков, ясно поняв: немецкое боевое охранение заметило батарею.

Подбежав к сгрудившимся повозкам боепитания, он увидел, как солдаты, торопливо, суетясь, сгружают снарядные ящики, а орудийные упряжки, грохоча передками, вскачь понеслись по высоте.

— Я приказал — в укрытие! — громко повторил команду Новиков, встретясь с лихорадочными глазами первого повозного, тот со стоном нетерпения кидал ящики на землю. И договаривал быстро: — Батарея как на ладони! Вы это еще не поняли?

Над головой хлестнула очередь. Новиков нагнулся, а повозочный упал животом на ящик, прохрипел в землю:

— Товарищ капитан... Немцы-то совсем рядом... Целоваться можно. Мы ж не знали...

— Ма-арш! — приказал Новиков.

Эта последняя команда оторвала повозочного от земли. Боком упал на повозку, рванул вожжи, повозка покатила по скату высоты, стуча оставшимися снарядными ящиками. Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо Новикова повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Бесперывно освещаемая высота опустела и будто вымерла сразу. Два

пулемета, стоявшие очень близко, вперекрест с перемещением били по ней, будто прочесывали каждую осеннюю травинку светящимися острыми зубьями гигантского гребня, и Новиков, услышав приближающиеся тукания пуль в землю, лег на траву. Он чувствовал, что немцы теперь не выпустят высоту из виду, будут прочесывать ее всю ночь. Все это вдвойне осложняло дело, злило его. «Засечь батарею еще до боя!»

Пулеметы внезапно смолкли, только ракеты, взлетая над озером, извивались щупальцами огня в воде.

Наконец ракеты сникли, темнота упала на высоту. Новиков встал и, уже не доверяя тишине, позвал вполголоса:

— Младший лейтенант Алешин!

— Здесь я.

Возле зашуршала трава, быстро подошел Алешин, забелело лицо в темноте.

— Вот джаз устроили!.. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь? Чтоб заткнулись!

— Не говорите чепухи, — оборвал его Новиков. — Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. За курение под суд. Все ясно? Раненые есть?

— Нет. Только один повозочный. Сужиков. На мину нарвался. Лена с ним.

— Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.

— Слушаюсь, оставаться. — Алешин с сожалением задержал вздох, потом нарочито бодрым голосом добавил: — Возьмите это, товарищ капитан, Леночке, — и уже неловко протянул Новикову две плитки шоколада. — Подкрепиться... а то они тут в карманах понатыканы, плюнуть негде!

Новиков молча сунул шоколад в карман, как бы не обратив внимания на неловкость Алешина. Он никогда раньше не замечал между младшим лейтенантом и Леной каких-то особых отношений, какие, казалось ему, были между ней и Овчинниковым. И то, что Алешин смутился, говоря «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик — младший лейтенант, напускавший на себя взрослость, — попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в веч-

ном окружении огрубевших от военных неудобств мужчин.

Спускаясь по высоте в сторону нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где началось неизвестное минное поле. «Наскочили на немецкую мину?» — соображал он и в ту же минуту, сойдя в котловину, услышал предостерегающий голос:

— Кто там? Осторожней! — и сейчас же заметил справа от себя, возле кустов, темнеющее пятно.

Он быстро подошел. Темное пятно оказалось разбитой, без передних колес повозкой, рядом возвышался круп убитой лошади. Лена, стоя на коленях, перевязывала тихо стонущего Сужикова, торопливо накладывала бинт.

— Сейчас, сейчас, — говорила Лена убеждающим шепотом. — Ну, несколько минут... Сейчас повозка придет, и мы в медсанбат, в медсанбат... Еще немножко...

— Сильно его? — коротко спросил Новиков, наклоняясь.

Лена, тонкими пальцами завязывая бинт, вскинула голову, Новиков в упор увидел чернеющие ее глаза. Она сказала удивленным, гневным голосом:

— Зачем вы еще здесь? Одного мало, да?

— Сужиков! — позвал Новиков и опустился на корточки возле раненого. — Что ж это ты, а? В конце войны... С Киева ведь вместе шли... Узнаешь меня?

Сужиков, пожилой солдат, воевавший в батарее Новикова с Днепра, лежал, запрокинув голову, напряженно округленные глаза глядели в небо; обросшее лицо было серо, узко, будто похудело сразу; медленно перевел взгляд, узнал Новикова, губы беспомощно-жалко зашевелились:

— Случайно... Разве знал?.. Вот обидно, — и крупные слезы медленно потекли по его щекам. — Обидно, обидно, — сквозь kloчущий звук в горле повторял он. — Всю войну прошел — ни разу не раненный.

Новиков не мог успокоить Сужикова, он хорошо знал: если раненый чувствовал, что жить осталось недолго, то никогда не ошибался. Сужиков не говорил о смерти, но Новиков подумал, что война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться, и именно это ощущение несправедливости болезненно кольнуло его.

— Не надо, Сужиков, не надо, милый, — заговорила Лена твердым, ласково успокаивающим голосом, промокая бинтом слезы, застрявшие в щетине щек. — Вы будете жить, будете жить... Боль пройдет, еще немножко...

Новиков не мог терпеть тех ложных слов, какие говорят медсестры умирающим, и, испытывая неловкость огрубевшего к горю человека, подумал, что он, Новиков, не хотел бы, чтобы его ласково обманывали перед смертью, если суждено умереть. От этой последней ласки жизни не становилось легче. Новиков сказал негромко:

— Не надо его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду, — добавил он и легонько сжал будто огненные пальцы солдата. Встал и, услышав снизу слабый голос Сужикова: «Спасибо, товарищ капитан», — почувствовал острое неудобство от этой благодарности, подумал: «Вот еще один...»

Минут через десять прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли.

Они стояли рядом, Новиков и Лена, молчали. Она неожиданно повернулась к нему, почти касаясь его грудью, округло выступавшей под шинелью, заговорила:

— Я бы одна отправила его! Зачем пришли? Хотите геройски погибнуть на mine? Кто вас звал? Это мое дело!

— Это мой солдат, — ответил Новиков. — Идемте к Овчинникову. Только осторожней, не петляйте по минам, шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. — И добавил: — Кстати, вам шоколад от Алешина.

— Какой шоколад? Что это вы? Здесь не детский сад.

Влажный блеск засветился в ее глазах, и он увидел, как то ли презрительно и ненавидяще, то ли жалко и беспомощно, как сейчас у Сужикова, задрожали ее губы. И она резко пошла вперед, по котловине, к озеру.

Он догнал ее.

— Стойте, — остановил сердито. — Я сказал вам: идите рядом со мной. Недоставало мне еще одного раненого. Слышите?

Она не ответила.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два орудия батареи — взвод лейтенанта Овчинникова — были выдвинуты в сторону ничьей земли на двести метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина.

Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании — команды отдавались шепотом, люди двигались ползком. Сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами, солдаты почти беззвучным шепотом матерились.

При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Люди, замирая, приседали на огневой, не выпуская лопат из рук, глядели в темноту, на кусты, проступающие вдоль свинцовой полосы озера. Ожидали ракет, близкого стука пулемета, — казалось, слышно было, как немцем-пулеметчиком продергивалась железная лента.

Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, торопливо курил в рукав шинели, командовал шепотом:

— А ну, шевелись, шевелись! Лягалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!

Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат. Запах крепкого пога доходил до него от работающих тел.

— О чем задумались, Лягалов? Жинку вспомнили? — снова спросил он, зорким кошачьим зрением вглядываясь в потемки, и нетерпеливо пошевелился на бруствере. — Ну, чего размечтались? Жить надоело?

Замковый Лягалов, солдат уже в годах, с некрасивым, робким лицом, с толстыми губами, в постоянно сбитой поперек головы пилотке, стоял, обняв лопату, двумя руками держась за оттянутый подсумком ремень, бормотал виноватым, усталым голосом:

— Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе. После немецких консервов... Я маленько...

— Врет, хрен его расчеши! — захихикал насмешливо злой наводчик Порохонько, подходя, белея в темноте

худым, тонким, безволосым телом. — Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одном... Як на марше зашли напиться в замок, бачим: графиня, руки белые, в кольцах... Шмяк на колени перед Лягаловым: «Я такая-сякая, капиталистка, туда-сюда, а от любви умираю, возьмите в жены, советской жолнеж, ум-мираю от сердца...»

— Отчепись, — смущенно и протяжно попросил Лягалов, по-прежнему держась за ремень. — Знобит меня, товарищ лейтенант... Разрешите? — И, потоптавшись неловко, полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев.

— Насовсем убьет, гляди, — заметил Порохонько насмешливо и поплевал на ладони. — Графиню сиротой оставишь!

Сержант Сапрыкин, грузно-широкий, тяжело посапывая, ожесточенно долбя грунт, недовольно сказал:

— Ну, чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Язык у тебя, Порохонько, болтает, а голова не соображает. — И миролюбиво добавил: — Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.

— У плохого солдата перед боем всегда понос! — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. — До рассвета не окопаемся — нам крышка тут. До всех дошло?

Сапрыкин, глядя в темноту, произнес задумчиво:

— Тут недалеко чехи, соседи наши, окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал: Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки. А ну, нажимай, пота не жалей, все окупится!

— Это что — для агитации, парторг? Или так, для приподнятия духа? — недоверчиво спросил Порохонько.

— Мне тебя агитировать — дороже плюнуть, орудейный банник ты! — ответил Сапрыкин добродушно. — У тебя свой ум есть: раскидывай да уши востри, куда полагается. Не ошибешься без агитации.

— Нажима-ай! — хрипло скомандовал Овчинников. — Разговоры прекратить!

Оставшись в гимнастерке, Овчинников с силой вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, бесшум-

ным рывком отбросил землю на бруствер. Все молчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у солдат обостренно-тревожащее чувство. Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разьедавшим тело потом.

Раз Сапрыкин, не рассчитав налившую все его массивное тело силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Крово-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, все вокруг. И люди на огневой позиции ясно увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках.

— Ложи-ись! — неистовым шепотом скомандовал Овчинников.

Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, огненные вихри сбили бруствер, взвились рикошетом в озаренное ракетами небо, впиваясь в звездную высоту.

Люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле, — мертвенный свет трасс бушевал над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе, Лягалов, бросился ничком, головой в бок лежавшему Овчинникову, будто давясь, икая.

— Не задело? — крикнул Овчинников и услышал сдавленный голос Лягалова:

— Ка-ак он хлестанет!.. Ну, думаю...

— Эх ты, поно-ос, — засмеялся шепотом Порохонько. — О графине подумал, икота началась на нервной почве...

Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось Овчинникову горстью земли забросать ее брызгающий свет. Казалось, что бруствер не прикрывал их и все лежали на ровном месте, как голые.

— Вроде как житья не дадут, — спокойно сказал Сапрыкин.

— Заметили, фрицево отродье! Точно подзасекли, — мрачно проговорил лейтенант Овчинников и выругался от удивления: разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он сейчас же вскочил, зашептав: — За лопаты, наж-жимай! Душу из всех вон!

Первым поднялся неуклюжий, будто виноватый Лягалов, — суетливо поддергивая галифе, бросился искать лопату, натолкнулся на деловито встававшего с земли командира орудия Сапрыкина. Сапрыкин остановил его рассудительно:

— Потихоньку. С какой стати расшумелся, как трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь! — и взялся за кирку.

— Это он геро-ой, колгоспный бухгалтер, — отозвался Порохонько. — Одно дело: то понос, то графиню прижимает, то головы отдавливает, ловка-ач! У него и фамилия такая — лягает по головам. Залез в кусты демаскировать.

— Зачем так, разве я виноват? — тихо, конфузливо спросил Лягалов. — Обижаешь ты меня. Легче тебе так?

— Я ж люблю тебя за ловкость.

— Прекратить разговоры! — скомандовал Овчинников вполголоса, и все стихло на огневой.

Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту.

— Идет кто-то, — произнес он и, подойдя к краю огневой, окликнул: — Кто идет?

— Двое идут, — сказал шепотом Сапрыкин. — Может, чехи? И по минному полю... Вот славяне! Пстой, кажись, комбат с санинструктором.

Овчинников хмуро выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной, с большим намерением игры, которую легко, казалось, удачливо начал истосковавшийся по женской любви Овчинников.

Подошли Лена и капитан Новиков, их фигуры смутно проступили над бруствером среди темени ночи.

— Леночка, дайте руку. Упасть можно, — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. — Прощу вас, Леночка. Спасибо, что пришли.

Она протянула руку, узкую, влажную ладонь; и он особо значительно, сильно сжав ее своими грубо-сильными, в мозолях пальцами, помог сойти на позицию.

Когда сходила она, вес ее тела, упругие движения передались на руку Овчинникова, и, чуть-чуть задохнувшись, он почувствовал в доверчивом пожатии ее иной, обещающий смысл.

— Связь с Ладьей проложил? — спросил Новиков.

Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:

— Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена... Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Лягалов.

Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую, — хорошо знал самолюбивого лейтенанта, тот не мог сидеть и ждать: окапывался всегда первым, первым докладывал о готовности огня.

Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнувший сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал:

— К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.

— Знаю, — отрезал Овчинников, прикуривая.

Помолчали.

— Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? — спросила Лена сердито, глядя на загоравшиеся огоньки двух папирос и улавливая от одного, особенно ярко вспыхивающего, пристальный взгляд Овчинникова, устремленный на нее.

— Дайте папиросу, заснули, товарищ лейтенант? — насмешливо сказала она, обращаясь к Овчинникову, — этот сонный его взгляд раздражал ее.

Овчинников встрепенулся, папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки. Вдруг произнес тяжелым голосом:

— Разведчики научили? Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон — другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.

И, ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул Лене папиросу, зажег спичку. Лена, недовольно взглянув на него узкими глазами, задула огонь.

— Спасибо. У меня есть прекрасные французские

духи. Разведчики уже подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распоряжусь, товарищ лейтенант?

И, отдернув плащ-палатку, вышла.

— Чего это она? — Овчинников уязвленно хмыкнул. — Хитрый, скажи, орешек! Эх, жена бы была, королева в постели! — добавил он преувеличенно открыто и снисходительно. — Хороша, капитан!

Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже приказывать или тоном приказа советовать ей.

Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчинников:

— Запомни, твои орудия примут первый удар. Шоссе — на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.

— Знаю, — хмуро ответил Овчинников.

— Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины: и наши и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?

— Знаю, — мрачно ответил Овчинников, прикуривая от окурка новую папиросу.

Помолчав, Овчинников хмыкнул, думая о чем-то, глубоко затягиваясь, шумно выпустил дым.

— Ловушка, значит? — резко, недоверчиво произнес он, как будто для того только, чтобы возразить.

— Какая? — Новиков усмехнулся. — Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях.

— Знаю! — снова будто отсек Овчинников.

Это хмурое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия, говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в двадцать шесть лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.

— Что «знаю»? — миролюбиво спросил Новиков, и по тону Овчинникова снова почувствовал его прево-

сходство над собой. — Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым!

Новиков встал, откинул плащ-палатку.

Звездная, неестественно тихая ночь, со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.

— Молчат и ждут, — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: — У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии Второй Украинский вышел на Тису. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец...

Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, не вышел, только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы, ответил коротко:

— Нет.

Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то недоделанном им. Это подавляло его. Угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.

— Нет! Не думал, — глухо повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:

— Ну и дурак! Ладно. Пошел.

В ходе сообщения, не открытом еще полностью, он столкнулся с наводчиком Порохонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутой в узел плащ-палаткой. Спросил, крикнув, подбрасывая тяжелый ворох на лопатках:

— Вы чи не вы приказали, товарищ капитан? Или разведка?..

Новиков сделал вид, что не понял намека.

— Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. — И пошутил как будто:— Скоро будем спать на чистых простынях, Порохонько, я вам обещаю.

Порохонько протиснулся к землянке. Свалил со спины ворох и вдруг понимающе, сурово даже, оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя (он знал это) была странная спокойная веселость Новикова.

Стояла полная предрассветная тишина. Немцы молчали.

За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово: огневая открыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые.

Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, еще некоторое время лежал на соломе в блиндаже, укутанный мутной дремотой, как паутиной. Потом сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил не окрепшим после сна голосом:

— А второе орудие? Доложили о готовности?

— Нет еще.

В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, шурились на свет. На снаряжном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутылка красного вина. Телефонист Гусев, наклоня стриженую голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшеничную кашу, дул, обжигаясь, на ложку.

Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав к груди, оттопырив локоть; не соразмеряя силу, так нажимал на нож, — казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал спокойно, домовито:

— Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. — Кивнул солдатам: — Садитесь, ребята.

— Есть не хочу.

Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, покривился:

— Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал! А ну, Гусев, командира второго орудия старшего сержанта Ладыю!

Гусев вытер поспешно губы — он, как ребенок, измазал их пшенной кашей, — сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как на ложку, заговорил баском:

— Ладыю, Ладыю, давайте Ладыю... Спите? А нам неясно, что вы делаете. — И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову. — Он... музыку какую-то слушает... С ума посошли.

— Какая там еще музыка у тебя, Ладыя? — сдви-

нув ломаные брови, спросил Овчинников, услышав по проводу близкий, как бы щелкающий голос командира второго орудия. — Трофеи, может, виноваты? Как у вас там? Почему вовремя не докладываете? А если все в порядке, докладывать надо. Ладно, послушаем музыку. Какая еще музыка?

Встал, застегнул шинель на сильной, будто слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:

— Лена где, возле орудия?

И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.

Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестящих лопат в ровике.

Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Лягалова — на коленях железом отсвечивал автомат, воротник поднят. Рядом, на соседнем ящике, Лена, на плечи накинута плащ-палатка. Лягалов говорил, вздыхая, голос звучал сонно, ласково:

— Не женское это дело — война. Какое там! Мужчину убьют — это туда-сюда, его дело. А женщина — у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка... Парни за ней табунами ходили, на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу! Нет, не могу! Двести бы раз вместо нее согласился воевать! А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница небось?

— Я из Ленинграда, училась в медицинском институте. Вы сказали — фыркальщица? — спросила Лена. — А что это значит?

— Да такая, чуть что — фырк. И пошла... Я не говорю про вас.

Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Лягалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил:

— А родители как у вас?

— Я одна, — сказала Лена. — Нет, лучше один раз

воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет, с нами должны воевать не только мужчины, но и женщины и дети. Один раз. И навсегда! Иначе нельзя жить.

Замолчали.

— Лягалов! — строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. — Идите отдыхайте! Я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо.

Лягалов в нерешительности потоптался, беспокойно оглядываясь на недвижно-темную фигуру Лены, растерянно кивая ей, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил, игриво улыбаясь:

— Покурим, что ли, Леночка? В рукав...

— Не курю, Овчинников.

— Та-ак... Значит, мило шутили надо мной? Что ж, счень приятно, можно сказать, — проговорил он по-прежнему игриво-простодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, улыбался криво: — Может, перед комбатом форсили?

Она сидела невнимательная, едва заметно хмурия брови, будто прислушивалась к чему-то. Спросила:

— Ничего не слышите? — И повернулась в сторону озера. — Послушайте. Что там у них?

Овчинников не понял.

Низко и свинцово, подступая из темноты, блеснул край озера. Серая, застывшая по-осеннему, уже затянутая туманцем вода не отражала высоких звезд, кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно, неподвижно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей земле, к озеру.

И вдруг Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель в земле, нежные, звенящие звуки саксофонов, дробный грохот барабанных палочек, сентиментально-томный женский голос пел о чем-то томительно-незнакомо. Внезапно появилось такое чувство, будто там, у озера, приемник немцев поймал случайную, с другой планеты, музыку (которую слышали и возле орудия старшего сержанта Лады). Сразу возникшая мысль у Овчинникова о том, что у немцев не спали в эти самые крепкие часы сна, беспокойно и подозрительно насторожила его.

Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева от орудия, очень далеко, за ущельем, в горах, мягко тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки и кругло ударили танковые выстрелы. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Ривн. Потом все смолкло. Сразу смолк и патефон у немцев. Безмолвие лежало там.

— Что вы, Леночка? — сказал Овчинников небрежно. — Обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Серьезно обещаю вам — прекрасные духи достану. Встречались — не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?

Откинул полу шинели, вынул из кармана нагретый теплом тела, игрушечно блестящий перламутром рукоятки маленький, в ладонь, пистолет, подбросил его на руке, сказал:

— Немка военная какая-то носила. Даже себя убить, должно быть, невозможно. И ранить нельзя, а так — вещь, вроде игрушки. У вас оружия нет, возьмите...

— Ну-ка, покажите.

Лена легко скинула влажно зашуршавшую плащ-палатку, чтобы не сковывала движения рук, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею; миндальный запах волос, как бы обещающий сокровенную близость гибкого, крепкого тела, коснулся Овчинникова при повороте ее головы.

— Дамский «вальтер», — услышал он голос Лены. — Это действительно игрушка.

Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только остро и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью, в прерывистом шепоте его:

— Как гвоздь вошли в сердце, Леночка. Клещами не вытацишь. Я тебя никому не дам, никому не дам!..

И сильно, по-мужски опытно обнял ее, рука, уверенно лаская, скользнула от груди к тайно теплым, сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, до близости плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче, жадно цело-

вать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стучающаяся о стиснутые ее зубы.

— Леночка, Леночка...

Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по виску и еще раз ударила с перекошенным лицом, сказав страстно и зло:

— Дурак, глупец! Убирайся к черту! Иначе я не знаю, что сделаю!..

Он сидел, оглушенный, глядя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа.

— Еще... ударь... еще!.. Сильней ударь!

Она шагнула к нему.

— Да, ударю!

— Товарищ лейтенант, к телефону вас. Немедленно! — послышался робкий голос Лягалова, и Лена и Овчинников оба одновременно повернулись — увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.

— Кто еще там? Лягалов? Подсматривали? — гневно спросил Овчинников. — Я спрашиваю: подсматривали?

— Никак нет, — сдерживая зевоту, благодушно ответил Лягалов. — Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас... А я на пост встану.

Овчинников до странности быстро потух, только колючий, подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал глухо:

— Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.

И мягкими, шупающими шагами двинулся к ровику, оттолкнул Лягалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил:

— Второй у телефона!

— Почему не докладываете о проходе? — спросил голос Новикова. — С саперами связался? Что молчишь?

— За мою жизнь беспокоитесь? — сипло произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос

Новикова (сидит себе в коттедже и водку пьет!). — Я приказ выполняю! Отсюда драпать не собираюсь! За меня не беспокойтесь! Именно за меня!

— Если прохода не будет, отдам под суд! — тихо и внятно сказал Новиков. — Именно за тебя я не беспокоюсь.

— А-а, куда угодно! Хоть под суд, хоть к дьяволу!..

Он долго сидел на нарах, узколиций, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы, — был похож на взъерошенную хищную птицу.

— Да тут чего порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопая потихоньку...

Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку: крупное лицо, мягкое, задумчиво-домашнее, заметно серебрились виски при слабом свете лампы.

— Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается — и только! От сырости или поту? В какой карман класть? Вот шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?

Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря спокойно, будто слова взвешивая:

— Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в четвертом часу ночи.

Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, долго в раздумье стоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в двухстах метрах от немцев стояли орудия Овчинникова.

— Позиция дурная. Орудия как на ладони. Но лучшей нет. — И повернулся к Новикову. — Как полагаете?

— Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разго-

варивать шепотом, вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговариваете громко, как на свадьбе, — нестеснительно и прямо сказал Новиков. — Пулеметы уже пристреляли позицию.

Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубашке, то в батарее он обычно приезжал по-уставному подтянутый, тщательно, до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько в раздумье щелкнул кнутом по голенищу, сказал:

— Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой уважаемой вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.

— Я отдал уже приказ, — спокойно ответил Новиков. — Прошу в особняк.

...В их распоряжении было несколько часов. Сколько — они не знали.

Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали — и не пьянели.

Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты; в кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:

— А ты к колодцу сходи... к колодцу...

Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, в нижней рубашке сидел на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен — движения больших рабочих пальцев уверенны, бугры молодых мускулов напрягаются под рубашкой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.

— Бывает же, товарищ капитан, — сказал он, обращаясь к Новикову. — В госпитале два месяца лежал — бомбежки снились, здесь, на передовой, снится степь на зорьке, терриконики снятся, лампочки в забое. Проснешься — будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон... колодцы привязались.

— Ложитесь, — сказал Новиков. — Не теряйте минуты.

Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, недовольно говорил:

— Разгул цинизма в степени эн плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Разрушения. «Фотографии России»... Книга для немецких офицеров. Петин! — позвал он. — Эту сволочь — в уборную, в сортир! В сортир! — повторил он и сердито швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу.

Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими пальцами, добродушно, во всю ширину лица улыбнулся:

— Куда ее, товарищ майор? Наждак!

Гулько зло хмыкнул волосатым носом.

— Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия, — медленно заговорил он. — И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятия на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жадой уничтожения, садизма, возведенного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?

— Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами, — ответил Новиков.

— О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины! — проговорил Гулько, насупясь.

— Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому, — сказал Новиков. — От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.

— Вон как? Весьма любопытно, — ворчливо произнес Гулько, косясь на Новикова, потом на Алешина. — А вы, младший лейтенант? Что вы полагаете, м-м?

Новиков отодвинул рюмку, вынул папиросу, звонко шелкнул крышкой портсигара.

— Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной!

Алешин с независимым видом сидел, поглаживая ладонью скатерть, длинные ресницы опущены; на влажный чистый белый лоб упали каштановые волосы. После слов капитана он смущенно заалел пятнами, внезапно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене.

— Россия, — задумчиво проговорил Новиков. — Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?

Оттого, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые, мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого-полумальчика; спросил:

— Что же! Выкладываете...

Новиков не ответил.

— До России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры! — проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову.

Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:

— Ты к колодцу иди, к колодцу... Вода хо-олодная...

— Вот она, Россия, — тихо и серьезно сказал Новиков.

Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудия Овчинникова. Подождал немного, глядя задумчиво на Колокольчикова, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил вполголоса, услышав Овчинникова, о минном поле, потом закончил твердо:

— Если прохода не будет, отдам под суд, — и положил трубку.

— Слушайте, Новиков, — проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. — Вообще сколько вам лет? Кто вы такой до войны — школьник, студент?

— Какое это имеет значение? — ответил Новиков. —

Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.

— Ну, время истекло, мне пора, — сказал Гулько, оглядев спящих солдат, и поднялся. — Петин, лошадей!

Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно, жавшие ему, и, не отрывая ласково погрузневших глаз от ручных часов, заговорил:

— Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.

— Не надеюсь, товарищ майор, — ответил Новиков и замолчал; видимо, Гулько знал то, чего не знал он.

— И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь, — серьезно посоветовал Гулько и неожиданно доверительно-нежно взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал, зная, шепотом, чтобы не слышал Алешин: — В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...

И, пожав Новикову локоть, вышел, привычно нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством протреникали шпоры на лестнице, стихли внизу.

Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду: никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал, как слабость, и которой стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека и давно уже свикся с этим.

— Что это? — спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки. — Откуда тряпки?

— А это того... из медсанбата... — мордача, — ответил Алешин.

— А-а, — неопределенно сказал Новиков и повторил вполголоса: — Что ж, и на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на

стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на какие-то по-летнему синие глаза его; они казались молодо и отчаянно прозрачны.

— Ну и везет вам, товарищ капитан! — весело, даже восхищенно сказал Алешин. — Просто чертовски везет! Новиков лег на диван, не снимая сапог, потянул к себе шинель, сказал:

— Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?

Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся, потом, разбежавшись, будто ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа уже, стал расстегивать гимнастерку и одновременно — носком о каблук — стягивать сапоги.

Потом, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе:

— Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливее, вам везет! Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием... Вас в академию. А я, черт!.. — Он, вздохнув, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, волосы наивно-трогательно упали на лоб ему. — А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль «За отвагу» — никак. — И договорил совсем доверительно: — А для меня это самое дорогое из всех орденов, солдатская медаль «За отвагу». Серьезно! Вы не смейтесь!

— Добудете и медаль. Это не так сложно, — ответил Новиков и спросил: — Вас кто-нибудь ждет?.. Ну, мать, сестра, невеста?

— Мама... и Вика... ее звать Виктория, — не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.

— Очень хорошо, — сказал Новиков и после молчания снова спросил: — Скучаете по России, Витя?

За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеванная каким-то чувством радостной боли, которое никогда не проходило.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Новиков открыл глаза, рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клетот снарядов, пронесившихся над крышей. Треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, бледное, испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему из полусумрака, мгновенно подняли его на ноги.

— Что?

— Товарищ капитан... Товарищ капитан!..

— Что?

— Товарищ капитан... к орудиям! — захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. — Началось!.. Света не видать...

— Чего не видать? — Новиков раздраженно схватил ремень и кобуру с кресла. — Этот не видать, так, может, тот видно? Где Алешин? Почему сразу не разбудили?

— Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить... Все у орудий...

— Эти мне сосунки! Командовать начали! — выругался Новиков.

Он уже не слушал, что говорил Ремешков. Затягивая на шинели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую, с разбросанными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе, среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков, по скатерти, ссыпались на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчиков, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом:

— Вас... Алешин к орудиям! А мне... куда?

— Туда, к орудиям!

На ходу надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувыбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер ходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых, заспанных ездовых из





хозввода, бестолково искали что-то. Увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по-нестроевому кинули руки к пилоткам.

— Что за беготня? — спросил Новиков. — Всем по местам! — И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрый от росы парк.

Повозки хозввода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага, желтели вороха листьев, занесенные на повозки взрывной волной. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, стоял над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема.

Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к воротам, смотрел сквозь ветви на высоту; трассы танковых болванок пролетали над ней, частые вспышки мин покрывали скаты.

Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева, в стороне города, и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа.

И Новиков понял — началось... Это должно было начаться.

Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно.

Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди, пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом дыму.

«Что они, из ущелья вышли?» — мелькнуло у Новикова.

Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок опять, как горб, колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до отказа набитый чем-то мешок внезапно вызвал в Новикове злость.

— Опять с землей целуетесь? Опять дурацкий мешок?

Ремешков вскочил, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на

вершину высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции, сел прямо на землю, как сквозь пелену различая лица людей, станины орудий, между станин открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова.

— Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу! — услышал он громкий голос Новикова и заметил виновато-растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина рядом с ним.

— Товарищ капитан! Овчинников у телефона, ждет команды! — крикнул кто-то.

— Передать орудиям: приготовиться, но огня не открывать! — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, прыгнул в ровик НП.

Все, кто был в ровике, — невыспавшиеся, с помятыми лицами разведчики и связисты — сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, стали отряхивать крошки с шинелей; кто-то сказал:

— Кончай дурачиться, Богатенков!

Заряжающий первого орудия Богатенков сидел потурецки на бруствере, спиной к Новикову, откусывал галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной веселостью:

— Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет. Я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты рыбачок, так тебе вода... Всю войну на передовой, в конце не убьет! Понял?

— А ну, слезы! Капитан пришел, слышишь, шахтер?

Командир отделения разведки старшина Горбачев, подбрасывая на ладони великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся Новикову как бы одними густыми ресницами, толкнул плечом Богатенкова:

— А ну, слазь! — и, посмеиваясь, заговорил: — Смотрите, что фрицы делают... Крепкую заваривают кашу. Пожрать не дали, — значит, торопят. Тут еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются... Видели?

В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он перед пустым снарядным ящиком, дос-

ки глубоко были исколоты финкой, — видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака: положив на ящик растопыренную ладонь, быстро втыкал финку меж пальцев.

— Цирк устроили? — строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева. — Богатенков, вы что? Судьбу испытываете? А ну, вниз! Еще увижу, обоих под арест!

Богатенков повернул молодое, кареглазое, красивое ровной смуглотой лицо, при виде Новикова смущенно крикнул, поспешно сполз в ровик и, так одергивая гимнастерку, что она натянулась на крепкой груди, забормотал:

— Да тут разговор всякий, товарищ капитан... — и сдвинул брови. — Разрешите к орудию, товарищ капитан?

— Идите!

Старшина Горбачев, втолкнув нож в чехол на ремне, вразвалку подошел к двум ручным пулеметам ДП на бруствере, щелкнул ладонью по дискам, сказал небрежным голосом:

— Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо.

— По места-ам! — скомандовал Новиков.

То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов; неслись над полем, перекрещиваясь, трассы; пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звуком хлопали немецкие противотанковые пушки.

Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в двухстах от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки пятого корпуса — правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно в первые секунды показалось Новикову: наши танки не отвечали пушкам огнем, их бронейные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова три немецких танка. Теперь их не было — вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости увидел и понял все. Левее леса из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравь-

иной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей; растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли три передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в трехстах метрах от разбитого моста, в минном поле, стояли орудия Овчинникова.

То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила по шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову: навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией, удивило его.

Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, оглянулся назад. Дым застилал всю западную окраину Касно, ничего не видно было там, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда, — немцы атаковали и там.

И Новиков понял: немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировке на севере — к границе Чехословакии.

«Ах, так вот оно что!» — с чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду:

— Приготовиться! Овчинникова к телефону!

С гулом, будто остановившись над высотой, треснул дальнобойный бризантный; из рваного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди ровика.

Старшина Горбачев, следя за передвижением левой колонны, окруженной танками, вдруг снова улыбнулся будто одними трепещущими ресницами.

— Кончай ночевать! — и ногой оттолкнул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова с заостренным ожиданием. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, непрерывно, осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали.

— Ну? — скомандовал нетерпеливо Новиков. — Связь!

Он глядел на бурные навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда, к высоте. Колонна, все вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудия Овчинникова. И, тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке, трассы веером метнулись возле нее.

— Ну? — повторил Новиков и резко обернулся к телефонисту. — Что там, Колокольчиков? Быстрей!..

Тот вскинул растерянно-беспомощные глаза, выговорил шепотом:

— Не отвечают... Связь порвана... Перебили. Я сейчас, я сейчас... по связи, — и, опустив голову, стал медленно подыматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели.

— Бросьте свою чистоплотность! — крикнул Новиков и, шагнув к аппарату, указал в поле: — Вон там... идут по связи от Овчинникова! Видите? Давайте навстречу, по линии! Чего ждете?

— Разрешите, товарищ капитан! Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу. — Покачивая плечами, придвинулся к нему Горбачев, жгуче-золотистые глаза его, спокойно и как бы не прекословя, блестели Новикову в лицо. — Оставайся у аппарата, парнишка, — и оттолкнул связиста в сторону. — Куда он в мины ползет? Я здесь все как свои пять пальцев...

— Возьмите с собой Ремешкова, — приказал Новиков. — Возьмите его, — повторил он.

Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика возле аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было: он только что — в одну секунду — мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова.

Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора... Он думал: после того как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия, и на минном

поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина — во фланг им, сбоку.

Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного от орудия Горбачевым. Увидел только, как, изогнувшись, неся ручной пулемет, выпрыгнул из окопа Горбачев и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, оглянулся, открыв рот, и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова, — маленькая фигурка распластанно лежала на поле, ткнувшись головой, разводя ногами, словно плыла, а струи пуль все неслись к ней, выбивая из земли пыль.

«Ну, огонь, огонь! Что там медлят? Пора! Открывай огонь, Овчинников!» — хотелось крикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему там медлят. Это был предел, после которого была гибель.

Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова, мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны. Будто короткие вспышки магния чиркнули там.

Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили иптаповские батареи, врытые в землю танки.

— Начал!.. — крикнул кто-то в окопе за спиной. — Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!..

«Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления! Ни секунды! Давай, Овчинников!» — с отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой внезапно появившиеся люди, и Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле — знакомое возбуждение начавшегося боя.

— Товарищ капитан! Начинать? Товарищ капитан, начинать? — услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил.

Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудия Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличи-

вая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь.

С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, хорошо видели орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков прикинул к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, только языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетели оттуда, — Овчинников вел огонь.

Две низкие глянцево-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, вдруг, розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда всё вытекала колонна.

В середине колонны из крытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев, бросились в разные стороны, скачками побежали за танками — вся котловина засветилась автоматными трассами.

И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно... пора!..» — и быстро посмотрел в сторону орудий Алешина, на сутуло замершие фигуры солдат.

— Внимание-е! — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. — По головным танкам — броневой, прицел постоянный. — Он сделал короткую паузу и выдохнул: — Ог-гоны!

Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши. Новиков не слышал голоса Алешина на огневой — все звуки покрыл этот грохот.

Стремительные огни броневых снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудия Овчинникова, голову колонны и танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился в кустах, как в чаше. В просветах возникали черные, низкие туловища танков: они как бы ускользали от броневых трасс. И Новиков с отчаянной решимостью, незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем людям, что защищено

сидели в недрах танков, готовые убить его, и которых обязательно должен был убить он, крикнул:

— Наводить точнее! Точнее! Куда, к дьяволу, стреляете? — и, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции.

Он увидел спящего возле орудия Алешина; напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова; широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова; бросилось в глаза: большие, влажные пятна под мышками у него, огромные, дрожащие от возбуждения руки рывком бросали снаряд в дымящийся казенник. Орудие откатывалось, брусья выбивало из-под сошников.

— Сто-ой! — скомандовал Новиков, переводя дыхание. — Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! Бегом! А ну, от панорамы, Степанов! — властно крикнул он наводчику, непонимающе повернувшему к нему мокрое, тревожное лицо. — Быстро! — И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приткнулся к наглазнику, вращая маховики механизмов.

Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, будто натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, быстро снизил перекрестие.

— Ог-го-онь! — и коротко нажал ручной спуск.

Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусениц. Он ясно увидел впившийся огонек в землю. Довернул маховик — пот сразу облил лицо, ожег глаза, — поднял перекрестие.

— Огоны!

Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек — скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И, не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще-торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое, шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня круто развернулась, тоже выскивая, длинный ствол орудия дрогнул, застыл на секунду. Черный, пусто-круглый глаз дула зорко целился, казалось, остро глядел через панораму

в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса досиня раскаленной проводской выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и одновременно тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в четырех метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков оглянулся на расчет — все целы?

Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреляных гильз, чуть нагнув голову, упорно, пристально смотрел на танки, будто, как тогда, на бруствере, испытывал судьбу.

— Что стоите? На коленях заряжать! — крикнул Новиков и снова припал к прицелу, скрипнув зубами: сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?.. — мелькнуло у него в сознании. — Он или я?.. Не может быть, чтобы он! Он или...»

Новиков надавил спуск; слившись с выстрелом, два танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвал глаз от панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка, этого немца в нем, зорко-быстрыми движениями, поспешно крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие... «Он или я?.. Он или я?..»

Танк стремительно полыхнул двойным оскалом пламени; одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд; смутно унеслись вниз две трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.

— Товарищ капитан, товарищ капитан! — бился чей-то крик в ушах. — Товарищ капитан...

— Ложи-и-ись!..

Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди коротко сверкнуло, будто хвосты комет; грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту, будто чем-то огромным, душным накрыло, придавило задержавшееся орудие.

Отплевывая землю, плохо слыша сквозь звенящий шум в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет — люди лежали в дыму между станинами, лицом вниз. И в первую же минуту сжалось горло, — показалось, что на огневую прямое попадание. Темная, неподвижная фигура Богатенкова, прислонясь спиной к брустверу, сидела в метре от Новикова, глаза закрыты, брови удивленно нахмурены, на коленях забыто лежал снаряд.

— Богатенков! — крикнул Новиков.

Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно, не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно отвел руку от снаряда, потом недоверчиво, наклоняя голову, пощупал живот, слабо развел пальцы и, со спокойно-хмурым удивлением глядя на измазанную кровью ладонь, сказал тихо, сожалеюще и просто:

— Напрасно это меня...

И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился на бок, спокойно и твердо прижался щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей.

Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков будто очнулся.

«Что это? Я не заметил, как его ранило? Это он звал меня «товарищ капитан»? Его был голос? Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто воевал и сделал меньше, чем он?..» И странно было, что нет уже живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, было уже не им — что-то непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле, и это чужое, казалось, уже сразу и навечно отдалилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. «Зачем он стоял в рост? Зачем? Верил, что его не убьют?»

— Перевязку! Быстро!..

Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и тотчас сквозь зубы подал другую команду: «К орудию!» — но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле — мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые второй командой Новикова, — он стоял на огневой в рост, не пригибаясь, знал: так надо.

— К орудию! Степанов, заряжай!

И только сейчас все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, вздрогнув широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно оглянулся на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, подняв снаряд, ожесточенно втолкнул его в казенник, выдохнул грудью:

— Насмерть? Товарищ капитан, «ванюши» по нас бьют! Это они!..

«Товарищ капитан... Это был его голос, Богатенкова... Что он хотел мне сказать?»

— А-а!.. — прошептал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел: прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и туда, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.

— Осколочными! По колонне!..

Он выпустил более пятидесяти снарядов по колонне. Там закрутился смерч — разлетались рваные куски, мелькали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немец отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков, беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда, — видимо, рвались боеприпасы.

— Снаряды! Снаряды!.. — раздался где-то в стороне, за спиной Новикова, крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки

дыма, колыхаясь, выплыли над мглой, в той стороне, где были орудия Овчинникова.

«Что это там? — мелькнуло у Новикова. — Это он?»

Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь увидеть орудия Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия, морозным холодом облило влажную спину Новикова. «Не может быть, чтобы он сделал это!» Но, не веря в то, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка, крикнул:

— Снаряд! Заряжай! — и, как пьяный, обернулся, нетерпеливый, черный, страшный.

Степанов, весь потный, в размазанных пятнах гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз. Широкое лицо растерянно, спекшиеся от пороха крупные губы пытались улыбнуться Новикову и не улыбались — дергались только уголки их судорожно.

— Товарищ капитан!.. Снаряды... — прохрипел Степанов. — Снаряды кончились. К передку расчет послал... За «из»! И заодно Богатенкова взяли.

— Кой дьявол... помогут передки! Там двадцать снарядов! — выругался Новиков. — Во взвод боепитания! Передайте мой приказ: все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?

И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы — жажда жгла его сухим огнем.

Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и поспешно протянул ее Новикову.

— Теплая только... — И, переводя дыхание, осторожно попросил: — Разрешите закурить на дорожку?

— Давай!

Тогда Степанов, сразу обмякший, налитый усталостью — все время бросал снаряды в казенник орудия, — с красными от недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. И не мог свернуть — пальцы не гнулись. И странно застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил.

Но так он и не свернул самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак.

— Пойду я!.. — подымаясь, прокричал он, вопросительно глядя на озеро, все взлохмаченное фонтанами мин. — Эх, рыбы-то попортили — ужас! — И, взяв карабин, пригнувшись, не спеша двинулся по высоте в крутую тьму разрывов.

Новиков пил из фляги, не чувствуя вкуса теплой воды; она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.

«Были взрывы... Овчинников подорвал орудия? Там танки? — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. — Но люди, как с людьми там?.. Не верю, что погибли все! Где Горбачев? Где Ремешков?»

— Когда будет связь? Почему так долго? — крикнул Новиков телефонисту, глядевшему на него из ровика.

— Товарищ капитан, к телефону!

— Связь с Овчинниковым?

Новиков резким движением перемахнул через бруствер, спрыгнул в ровик, почти вырвал трубку из рук связиста.

— Овчинников? — отрывисто спросил он, забыв в это мгновение про номерное обозначение офицеров — хотелось произнести живую фамилию. Но тотчас, сквозь потрескивание линии уловив голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил вдруг преувеличенно спокойным, сухим тоном: — Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ Первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.

— Пришлю сколько есть. Дам огурцов, — разделяя слова, ответил Гулько и необычно, будто родственно был связан с Новиковым, добавил: — Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.

Он снова будто ударил Новикова своей ненужной интеллигентной нежностью.

Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудия Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки: железный, замирающий

рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера, — отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей — обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда, — очевидно, по внезапному приказу, — перестал вытекать правый поток колонны. (Видно было, как горели там, справа, наши танки, врытые в землю.) И только двигался левый рукав колонны к озеру, в сторону молчавших орудий Овчинникова.

«Прорвались к озеру? Смяли Овчинникова?» — мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудью:

— Где снаряды? Скоро снаряды?..

Почти слитный троекратный взрыв снова потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива огня возле позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. Опять мигнул. И Новиков понял: танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там взвод Овчинникова все еще вел огонь по ним... Орудия жили!

«Молодец Овчинников! Молодчина! — хотелось отчаянно крикнуть Новикову. — Молодец!..»

В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блестела вода, и Новиков отчетливо увидел: озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь: немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.

— Второе орудие! Алешина! — не скомандовал, а скорее глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие и Новиков услышал в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан! Четыре танка мои!» — он холодно оборвал его:

— Сколько на орудие снарядов?

— Одиннадцать! Сейчас подвезут еще!

— Посмотри внимательней на озеро. Видишь переправу?

— Вижу, товарищ капитан! — ответил Алешин и спросил быстро: — А как Овчинников?

— Наводить точнее, все одиннадцать снарядов по переправе, давай!

Снаряды Алешина подняли воду вокруг понтонов, что-то смутное и длинное косо поднялось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятись, не отъехали от берега, стояли неподвижно. И фигуры немцев возились возле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.

«У них один выход — будут прорываться до последнего! Один выход!» — подумал Новиков и крикнул связисту:

— Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?

Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления — делал все, что может делать связист в присутствии начальства, когда нет связи.

— Вот что. Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через пять минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист! — сказал Новиков жестко. — Спишу в повозочные! Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень щупаете?

Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала, и хотя молодой Колокольчиков не хитрил, а лишь только, надеясь, ждал, когда проложат связь телефонисты Овчинникова, жизнь его потеряла свою настоящую цену для Новикова, и Колокольчиков понял это. Не сказав ни слова, поднялся от аппарата, провел рукой по потному носу. Были у него вопросительные ясно-зеленые глаза, как бы навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба.

Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья. Отрывисто, как бы преодолевая железную одышку, закрипели шестиствольные минометы.

Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота словно ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело, ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову чугуно налило огнем. Раскаленный осколками воздух пронесся над ними. И навязчиво, неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни: «Сейчас, вот сейчас...»

— Неужели конец, товарищ капитан? А?.. Неужели? — не услышал, а только понял Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой круглые, полные тоски и ужаса мальчишеские глаза. Этот ужас как бы мерцал — мигали белые от пыли ресницы паренька.

И Новиков, оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце. Ему снились колодцы в конце войны...

И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал сквозь грохот, накрывавший ровик:

— Мне нужна связь с Овчинниковым! Понимаешь? Связь! Иначе нельзя! Понимаешь! Мне нужно знать обстановку!

— Я сейчас... я сейчас... глаза только вот запорошило...—зашевелились губы связиста, детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным; он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, будто всхлипнул, по-мальчишески виновато сказал: — Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету... сестра у меня... А адрес в кармашке тут...

И, худенький, встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то близкого, весенне-зеленого (глаза, что ли?), легко и невесомо ходящего по земле.

И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь

грохот, как в щелочку, прорезался писк будто живого существа — призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно частивший голос:

— Я от третьего, я от четвертого, — и, мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая только одного — остановить Колокольчикова, рванулся к стене окопа.

— Колокольчиков! Наза-ад!.. Наза-ад!..

Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков, словно скачущими разрывами мин, — ничего не было видно перед высотой, да и голос его уже не мог вернуть связиста. Новиков с тяжестью во всем теле — стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова — присел возле аппарата, закричал в трубку:

— Овчинников? Овчинников? Да что там замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!

— Овчинникова нет, товарищ Второй, — зашелестел в ушах незнакомый голос. — Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я связист Гусев, раненый. Еще Лягалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев...

— Где Овчинников? — закричал Новиков, едва улавливая потухающий голос. — Овчинникова мне! Слышите?

— Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые — связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Лягалов. И еще санинструктор с нами, — однотонно шелестел бредовый, слабеющий голос, — а снарядов, говорят, ни одного нету... Пулемет только... Кончаю говорить... Я связист Гусев...

«Овчинникова нет, к вам пробивается!» Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудия? — соображал Новиков. — Орудия Овчинникова уже не существуют?»

— Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что там творится, перед пехотными траншеями... Наши бегут, что ли?

«Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да, это он — стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда...»

— Товарищ капитан, видите? Наши?..

И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил.

— Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!..

Новиков не обернулся на этот крик, возникший позади огневой.

— Снаряды, снаряды! — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, вытирая потное грязное лицо. — Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! Эх, жаль стереотрубу, — произнес он, беря пробитую осколками, лежавшую на земле стереотрубу, хозяйственно осматривая ее. И снова бережно положил на дно окопа, спросил: — А как они там... живы?

— К орудию! — подал команду Новиков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!.. — метнулся за спиной неверящий крик.

В ту же секунду перед орудием выросли трое людей, без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были в пятнадцати метрах от орудия. Они не бежали, не карабкались по скату, а толчками, как слепые, шли вверх на высоту, — видимо, ни у кого не было уже сил. Они шли, жадно заглатывая воздух, пошатываясь, глядя в одну точку перед собой — на вершину высоты, и Новиков увидел Овчинникова. Он сутуло шагал впереди в обожженной распахнутой телогрейке, с темным, как земля, лицом, без фуражки, волосы слиплись на лбу. Вскинув голову, он зло махнул пистолетом, крикнул сдавленным голосом:

— К орудию! Бего-ом! — и сам ускорил шаги, наклоняясь вперед.

И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, приказывающий голос Овчинникова остро и жарко опалили Новикова — где-то в горле сдавила, жгла металлическая горечь.

Они перескочили через бруствер, лейтенант Овчинников, Порохонько и Ремешков, задыхались хрипло — ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами.

Порохонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел:

— Пи-ить, братцы, глоток воды!.. — и все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вешмешка, плечи ходили то вверх, то вниз, озираясь на Овчинникова, он все иступленно прижимал что-то под насквозь потной и грязной гимнастеркой, на выпукло-крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от удара чем-то железным. Он бормотал взахлеб:

— А Горбачев, Горбачев где? За нами шел он... прикрывал нас... Где он?

Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, нетвердо стоял в рост на обессиленно дрожащих ногах, обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, лишь сухим, диким блеском горели глаза.

— Прицелы, — прохрипел он, указав на грудь Ремешкова зажатым в словно окоченевших пальцах пистолетом, и, как подрубленный, опустился на станину орудия, сжал голову руками.

— Орудие Лады с расчетом погибло. Танки... — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. — Туча танков, бронетранспортеров... шли напролом, стеной... окружили нас... Расчет Сапрыкина стоял до последнего... четверо убитых, трое раненых... там, они... там, — повторил он и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервночески задергались, и точно вспомнив что-то, закричал тотчас:

— Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!

Новиков шагнул к Овчинникову, взял за подбородок, поднял его голову, медленно сказал:

— Мне прицелы твои не нужны, — и спросил без намека на жалость: — Контужен?

— Вот здесь, — выговорил Овчинников, закрыв глаза, потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди. — Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздирает... от виденной крови... Я все сделал, все... Понимаешь, Дима.

Он назвал Новикова по имени.

— Нет, — неверяще ответил Новиков и спросил: — Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?

Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе: то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог он поверить, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще...

— Так вон ка-ак, — опадающим голосом, все поняв, произнес Овчинников и открыл глаза, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. — Вон ка-ак? Арестуешь? Под суд отдашь? На, бери! Я готов! Я на все готов. Я десять танков сжег... а это не в счет! Не в сче-ет!

С перекошенным лицом он швырнул Новикову пистолет, рванул на себе офицерский пояс, стараясь растегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой.

— Отдавай под суд!.. Отдавай!

— Прекрати истерику! Встань! — тихо приказал Новиков и, когда Овчинников, потухнув сразу, встал неуверенно, глядя мимо головы Новикова, он опять приказал: — Подыми пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!

— Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они? А? — раздался за спиной голос Степанова.

Новиков быстро подошел к щиту.

Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмари над грядой Карпат. Жидкие, косые полосы его лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем горевших танков. Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на блестящем озере, где наводили переправу немцы: вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили — это было ясно Новикову. Может быть, утро мешало им. И внезапно там, со стороны орудий Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков с дрогнувшим сердцем, не поверив, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова — землястая серость покрыла странно дергавшееся лицо лейтенанта.

— Горба-ачев?! — выдавил Овчинников. — Вернулся?

Он дикими глазами взглянул на Новикова и вдруг, точно окончательно поняв все, рванулся, гибко, по-кошачьи перескочил через бруствер, огромными, нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий; неистовыми крыльями рвались на ветру, метались прожженные полы его распахнутой телогрейки.

— Наза-ад! Наза-ад! — закричал Новиков страшным голосом, бросаясь к брустверу. — Наза-ад! Овчинников!

Овчинников, не пригибаясь, в рост уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям.

И когда автоматная очередь огненной струей полосула по нему сбоку, затем спереди и слева, он не изменил направления, не пополз, не пригнулся — видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, где в коричневом тумане двигались силуэты танков.

Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа, из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь мелькнул под ногами Овчинникова.

Он, сделав еще два шага, странно опустился на колени, медленным жестом провел ладонью по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвышенности к кустам, к тому невидимому орудью, которое только что стреляло.

Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Тот поднял голову, потом руку. Огненная точка коротко сверкнула там: выстрелил из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них быстро, неприцельно пустил очередь над головой Овчинникова, и он снова выстрелил три раза.

— У пулемета! — с бешенством крикнул Новиков, прыжком перемахнул в ровик, кинулся к ручному пулемету, возле которого, зло согнув спину, стоял разведчик, вжимаясь щекой в ложе. Ринувшись на бруствер, упав на него грудью возле разведчика, Новиков прокричал:

— Видишь фрицев? Отсекай их! Кор-роткими! Давай!

— Живым хотят взять. Ясно... — сквозь зубы сказал разведчик, и плечо его затряслось от дрожи пулемета.

Фонтанчики пыли взбились, замельтешили справа и выше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, отделявшем Овчинникова от немцев. Крупные капли пота выступили, будто выдавились на медно-красном напряженном лице разведчика. Диск кончился. Ударом выщелкнув его из зажимов, разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним, никак не мог вставить в пулемет — руки тряслись. С придыханием выговорил:

— А если убью лейтенанта?.. Товарищ капитан...

— От пулемета, — тихо, едва слышно сказал Новиков, ударил по диску, припал к пулеметному ложу, горячему, мокрому от ладоней разведчика, и выпустил две короткие очереди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что увидел.

Овчинников медленно, живуче вставал, опираясь руками о землю; встал, пошатываясь, в распахнутой телогрейке и, нагнув голову, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево, к кустам, где было оружие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему. И фигурой своей он надвинулся, загородил их. Немцы по нему не стреляли.

«Что это? Зачем? Что там?» — мелькнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, отдернувшего палец от спускового крючка. И в ту же минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен «язык!»), он, еще не веря, что делает («Зачем? Я не имею права! Не имею!..»), нажал спусковой крючок — весь диск вылетел одной длинной строчкой.

Когда же он, придя в себя и как бы все видя через

желтый песок в глазах, оттолкнул пулемет, ни немцев, ни Овчинникова возле кустов не было. Никого не было...

Он зачем-то посмотрел на ручные часы и так, глядя на них, опустился на дно окопа, возле безмолвно глядевшего на него связиста. Потом отчетливо увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить. «Что это? Мокрица?» — хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал орудие Овчинникова, но только странный, захлебнувшийся звук вырвался из его горла.

Тогда он встал, шагнул к землянке, вырытой вплотную с огневой, у входа обернулся ненужно и незащищенно, сказал с трудом:

— В горле что-то застряло... Воды бы... Орудие вызовите.

И вошел в землянку.

Когда минуты через две Новиков вышел, он казался спокойным, только лицо было бледно, сразу осунулось. Снова сел к аппарату, взял трубку, которую почти испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло:

— Гусев? Доложите обстановку...

— Ошибочка, я на связи, товарищ Второй...

Отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и Новиков узнал его голос, как всегда самоуверенный и как бы чуть небрежный, услышал его усмешливые нотки. Да, он, один Горбачев, цел, двигает руками и ногами, да рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные только лишь без пяти минут от бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, как бог черепаху, снарядов не густо, пять штук, но... целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно...

И хотя он докладывал, словно посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, оттого, что Горбачев был там, возле орудия, жил и смеялся, волна внезапной нежности толкнулась в его сердце. Знал: в том состоянии, в котором находился Горбачев, позволено многое, как глоток воды перед смертью.

— Держитесь до вечера, — негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове. — Потерпите. Вечером мы придем.

«Убил я его или не убил? — снова мучительно подумал Новиков. — Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня?» И как-то легко и спокойно ответил сам за себя: «Да, дал бы... Но можно ли по себе мерять всех людей?»

Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал: то, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли — он распоряжается их жизнью, судьбой во имя чего-то неизмеримо огромного, того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

Новиков молча прошел к орудию.

Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом; сворачивая сигарку, просыпал табак на колени, стал почему-то смахивать крошки локтем.

Порохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь офицерский потертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови двигались то вверх, то вниз, будто глаза чесались.

— Вот оно... — произнес он. — До Карпат дошел...

Ремешков сидел на снарядном ящике, где блестели две принесенные им от орудий панорамы, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской:

— А я бегу и вижу перед высотой — лежит этот связист Колокольчиков на боку, колени поджаты калачиком. Ну, спит — и все. Тронул я его. А он — мертвый. В руках провод зажат. Ребенок... а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно, глаза-то его... Не поймешь — одних убило уже, а мы живы...

— И у Лягалова глаза зеленые, — шепотом проговорил Порохонько.

— Встаньте с земли, — тихо сказал Новиков, обращаясь к Порохонько. — Простудитесь. В госпиталь попадете.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догравших танков к лесу. Его подталкивали в спину дулом автомата. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигая, расплзалась от предплечья руки конемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят его.

Он понимал одно: непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла все, кроме единственного — смерть...

Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. Была боль в голове, в груди, во всем теле, была его собственная кровь, которую он сплевывал и видел.

Halt, рус, Еван! Ha-alt!

Ствол автомата остро и грубо ткнул его в левую лопатку, эта новая боль обожгла его, и он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану? Лучше бы в здоровую. В плену ведь я...» Но, тотчас, поняв, что теперь он не был хозяином своей жизни, даже своих страданий, подумал другое: «Жалости хочу? Мягкости? Какой жалости?...»

— Ha-alt!

Дуло автомата снова уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулось в кость. Овчинников стиснул рукой левую кисть, остановился, пошатываясь. Кривя усмешкой окровавленные, распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет двадцати, с худощавым бледным лицом, смотрел на него пристально, желваки играли на втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маскхалат, штаны заправлены в сапоги, из раструбов голенищ рогами торчали автоматные мага-

зины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицо немца передернулось: держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова.

Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маскхалат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно сделал шаг вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал: «Для чего? А не все ли равно?»

— Halt! — и сзади услышал громкий горловой смех — не понял сразу, что смеялся немец.

Застегивая маскхалат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова, снова засмеялся, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее.

— Кап-пут, лейтенант! Капут!

И оттого, что он говорил эти слова не злым, а равнодушным человеческим голосом, оттого, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова, как мертвеца, и смеялся, видя его стеснение, — все подтвердило то, что думал, знал Овчинников.

«Не может быть, чтобы я через час или два умер. Чтобы меня не стало совсем. Так просто? Так просто?» — отчаянно соображал, весь не соглашаясь с этой мыслью, Овчинников и, снова ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последнее его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту, и почему-то подумал еще, что двадцать шесть лет никогда не сменятся двадцатью семью годами, что не будет именно его, Сергея Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать...

И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть? Должен умереть?

— Schneller! — чужой крик за спиной.

Ствол автомата сверлом врезался в раненое пред-

плечье. От боли, от этой команды он остановился, понял, что это «schneller» все убыстряло его путь к смерти, и неожиданно, сопротивляясь себе, своей послушности, голосу немца, будто сразу налил его огнем бешенства — оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься сразу, выбить автомат у юнца... «Кто взял меня? Птенец! Лет двадцать ему...» Но тотчас потух, зло скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку... Тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, словно невесомым каким-то стало.

«Неужто не могу? Неужто? — как в бреду, спрашивая себя Овчинников и даже застонал сквозь зубы. — Неужто? Неужто? Значит, конец?»

Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим болезненным блеском, снова сплюнул одеревеневшими губами тягучую кровь; и ему хотелось сесть от смертельной усталости, упасть на землю, отдышаться.

Ствол автомата подтолкнул его, и снова крик:

— Schneller, schneller!

Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников, подняв голову, увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес — не тот лес, солнечный, чистый, свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника и сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой — умирающий, осенний, желтый, заваленный поблекшими листьями, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке, такой лес он не помнил, хотя видел сотни раз; такой почему-то не оставался в его памяти.

Немцы в расстегнутых френчах торопливо окапывались на опушке, мелькала выбрасываемая из окопов земля, раздавались незнакомо чужие команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятась, вползали в кусты, под тень деревьев; открывались башни, из люков машин, устало переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо — вдоль опушки — прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колени. Солдаты в касках — у всех изможденные, небритые лица

воскового оттенка — злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один, пожилой, с мясистым подбородком, весь набрякший багровостью, жадно сосал сигарету. Внезапно перегнулся через борт толстым телом, выхватил сигарету изо рта, швырнул в Овчинникова, крикнул ломано:

— Рус Еван, плен нихт! — и издал звук языком, точно кость ломал.

Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не обжег его, только пеплом осыпал. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения. Вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая ценность еще час назад, стояла теперь не дороже втопанного в землю листа. Видел он, немцы отходили в лес, бой затихал, а он в эти минуты единственный пленный — не солдат, а офицер, — он, Овчинников, которого они, по-видимому, боялись, когда был он возле орудий, теперь шел здесь по чужому лесу, под этими чужими, унижающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел...

— Куда идем?

Он остановился, ссутулясь, повернулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно и коротко: «О!» Худощавое, мальчишески бледное, узкое книзу лицо стало беспощадным, жестким, готовым на все. На голову выше Овчинникова, он шагнул к нему, с точной силой ткнул дулом автомата в щеку. Этим ударом поворачивая его голову, крикнул ожесточенно:

— Vorwärts!

А он стоял, дрожа от бессилия, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил:

— Если бы не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал... если бы не рука... — и выругался страшным, диким ругательством.

— Was ist das твою матку? — крикнул немец, выкатив молодые, в коровьих ресницах глаза, и, напрягая вену на бледной с острым кадыком шее, снова scomандовал в лицо ему:

— Vorwärts! — и, оскалясь, замахнулся автоматом.

— Что ж... пойдем, сволочь, — как-то согласно проговорил Овчинников, нагнув голову, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям к своему концу.

Его привели на поляну в глубине леса. Бронетранспортеры, крытые штабные машины камуфляжной окраски стояли под соснами, в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны зеленым лаком блестела приземистая легковая машина с открытыми дверцами, запыленными стеклами. Вокруг нее солнечные косяки лежали на желтой траве, все здесь было обогрето теплым днем: и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова.

Маленький, сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце — лицо в тени, — сидел возле легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом, положив на него белую руку. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно-стройного немца, почти-тельно склонившего к нему тонкое, красивое лицо.

На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, остановили люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то быстро сказал им. Он разобрал только одно слово — «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый, красивый, сощурился на Овчинникова, брезгливо взял у разведчика сумку, спокойно скомандовал знакомое «форвертс» и указал рукой вперед. Немец-разведчик, сделав непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они. Овчинников понял, что его передали в другие руки — в руки людей в черном.

Двое немцев подвели его к легковой машине. Теперь знал он, зачем привели его сюда и почему прежде не убил его разведчик.

Он остановился, вызывающе расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая кровь, заполнявшую рот.

Он готов был к тому, что его будут унижать, причинять боль, страдания, и единственное, чем мог защи-

титься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией кончил говорить, слегка кивнул в сторону Овчинникова. Сухонький, в черном плаще, медленно повернул голову, и Овчинников увидел под крутым козырьком сухое лицо, глубокие волевые морщины возле рта, по-стариковский выцветшие глаза. Немец смотрел долго, устало, смотрел только на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает все тело.

Потом этот сухонький утомленно, скрипуче сказал что-то красивому, стройному немцу, что держал в руках сумку Овчинникова. И тот негромко отдал какую-то команду. Затем расстегнул сумку и брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней, и Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, словно раздевают его догола.

«Там карта, карта с огневыми!»

Красивый немец вынул карту, потертую по краям, вежливо, осторожно отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, поморщась, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку («Там в ней иголка с ниткой», — почему-то вспомнил Овчинников), и немец тотчас гадливо смахнул ее на землю. Оттопырив пальцы, развязал узелок — несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольнички (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку («Зачем он взял ее, зачем?»), удивленно рассмотрел ее, как бы ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную руку со стола, пристально смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть — болезненные удары в сердце, в голове оглушали его. Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. «Я не хотел этого, я не хотел! Не хотел! Что делать?

Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно...»

Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тотчас две руки рванули его за плечи назад, и он остановился. Немец в черном плаще снова перевел глаза на его губы, пузырившиеся кровью.

Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на левом боку, торопливо шел от машины. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек взял удостоверение Овчинникова, полистал. У человека этого были тонкие — полоской — усики на матовом лице, косые бачки возле прижатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал на солнце эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.

Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и человек этот, положив удостоверение на стол, заговорил неторопливо, чуть раздвинув губы улыбкой под тонкими усиками:

— Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир огневого взвода первой батареи Первого дивизиона Двести девяносто пятого арtpолка?

Как от толчка, Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь взглядом в матовое, гладко выбритое лицо человека, понял, кто этот переводчик.

И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клетотом крови в горле спросил:

— Русский? Ты — русский?

— Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..

Послышался звук над вершинами сосен — тяжелое шуршание приближалось издалека, — дальнобойный снаряд летел, будто посапывал, дышал, расталкивая воздух. И, ударив по лесу оглушительным грохотом, разорвался в чаще, за поляной. А Овчинников, поглядев

в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с лихорадочной надеждой: «Сюда; сюда, братцы, родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!»

Все вопросительно повернули головы к немцу в плаще, тот не выразил старчески сухим лицом тревоги, только провел белой ладонью по гладким седым волосам, громко и недовольно сказал переводчику: «Schneller!» — и холодно кивнул женственно-красивому немцу — адьютанту, по-видимому. Тот быстро откинул фарфоровую пробку горлышка бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и седой немец медленно отпил несколько глотков, устремив раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил снова, но Овчинников его не слушал. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.

И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы один на другом лежали там штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины — в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе, это считалось неприличным. И каждый академический час — сорок пять минут, устав от выстрелов, вопотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками стояли тут же, возле штабелей трупов. И эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от страданий? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...

Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался — не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь — что-то огромное, плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, будто нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. «Что он спрашивает?

Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало? Самолюбия было много...»

— Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все скажу...

Он не услышал свой голос, хрип вырвался из его горла. Он шагнул к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой быстро сделал какой-то знак. Полковник, закинув ногу на ногу, поднял лицо. И чьи-то руки не рванули Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно — зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:

— Я все скажу... я все скажу...

Он рванулся к столу. Протянул руку, с мгновенной радостью почувствовав глянec карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжелое навалилось на него, сцепило горло, какие-то голоса, как вспышки в черной мгле: «Вилли! Вилли!» И на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Разомкнул глаза, черная мгла исчезла, увидел небо — тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившееся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, прищуренные веки. Он лил ему в лицо воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли! Вилли!»

«Я еще жив? — вихрем мелькнуло в мозгу у Овчинникова. — Я еще жив...»

Кто-то сильно рванул его от земли. Подняли на ноги, ударив по раненой руке, и от живой этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он стоял на ногах, пошатываясь, — живучая сила держала его на земле. Перед самым лицом — темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика впивалась острыми иголочками зрачков, ноздри прямого носа раздувались.

— Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?

Потом возле лица переводчика появилось другое лицо, широкое, мясистое, багровое и какое-то все потное и сытое, как после обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки короткой красной шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И вдруг лицо это как-то странно подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расползлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой крупной ладони его взлетел парабеллум — человек играл им. «Вот этот новый убьет меня, — подумал Овчинников. — Это тот, кого звали Вилли...»

— В последний раз задаю вопрос... Слышишь?

«Теперь все, вот оно», — подумал Овчинников и засмеялся.

— Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! — крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок. — Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли? — и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам. — Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет! Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам десять танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...

Он задохнулся — не хватило дыхания. Увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно говорил что-то нахмурившемуся седому немцу, говорил, словно оправдываясь, и просил о чем-то. И в то же время вынимал из кобуры пистолет.

А толстое, мясистое лицо тоже повернулось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз. Потом опять просительно что-то сказал двум немцам, стоявшим за спиной Овчинникова, и его повели.

— Выслужиться хочешь, сволочь? — крикнул Овчинников. — Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!

Короткий возглас на немецком языке услышал он позади. Странно легко стало ему, никто не сжимал раненую руку. Он понял все и хотел повернуться, чтобы увидеть, что ожидало его за спиной, прохрипел:

— Стреляй в лицо, курва предательская!..

И не успел повернуться, что-то с треском толкнуло,

ударило его в бок, в грудь, и он еще почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, он хотел вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...

Он не знал и не мог уже видеть, и чувствовать, и знать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, нагнулся, потом, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно, неторопливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бой на северо-востоке от города Касно медленно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подоженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно и дымно горели до полдня. И как только начал затихать здесь бой, стала отчетливо слышна тяжеловесная канонада в стороне Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, ныряли над улицами, подолгу обстреливали и бомбили, казалось, центр города.

Новиков два раза вызвал по проводу КП майора Гулько — связи не было. Солдаты, истомленные боем, молча лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.

В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервно зевая, загремели котелками, оживленно выскребывали из них землю. Но ели пшеничную кашу устало, не жадно, запивая терпким трофейным вином. Косились на горевший город, иные недоверчиво

поглядывали на удивительно чистый, солнечный, синий край неба над Карпатами.

В кристально студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его стоял над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат. Солдаты глядели, шурились на мирно-тихую опушку леса, куда отошли немцы, и не верили этой без единого выстрела тишине, этому солнечному блеску, теплу, установившемуся перед высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину.

Это ощущал и Новиков. В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера, решающий удар для той и другой стороны. Тем более что они выявили огневые позиции батареи. Он знал это — и не ожидание боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было. Возникло тревожное предположение: немцы прорвались к центру города, отрезали батарею, нарушили связь.

— Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать! — сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость. — Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!

Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:

— Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили! Вы за кого меня — за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?

И, усмехнувшись, потянулся к большим ломтям хле-

ба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.

Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита, вдруг смешливо посмотрел ярко-синими глазами на замкнутое лицо Ремешкова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где же ваш вещмешок?» — но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:

— Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром, — и с видом пьющего, легкомысленного человека отстегнул фляжку от пояса.

— Пожалуй, дергать воздержусь, — ответил Новиков. — До завтрашнего утра пить не будем.

— Вот уж напрасно, — притворно озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку. — После такого боя стоило. А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан! — И, запрокинув голову, отхлебнул из горлышка несколько глотков, дружески, взволнованно блестя глазами, протянул фляжку солдатам: — Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!

Никто не взял фляжку. Все лениво жевали, глядя в котелки.

— Эх вы, чудаки, за танки ведь! Что, плакать будем, что ли? — сказал Алешин, покраснел и так заскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.

Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору, молчали.

Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Кривя губы, сказал шепотом:

— Лопатками аж чую — земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они... — И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове. — Погибать тут, не в России, — все одно що мордой вышню давить. Двинут они — и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям.

ползком, та помаленьку на хребтине — раненых сюда. А, товарищ капитан?

Новиков молчал. Порохонько снова лег, вспоминая еще следил за движением облаков в небе, губы были сжаты. Потом, мрачней, проговорил:

— Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...

Он угрюмо потер грудь, опять покосился на молчавшего Новикова.

Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.

Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат. Никто будто не замечал обоих.

Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим — держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной что-то такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда. Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка кистью старательно выводил кольцо на стволе орудия, потом, расставив циркулем ноги, долго любовался этим знаком, довольный, сообщал всем: «Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медали!»

Кто был, однако, Петро-цыганок — никто в батарее не знал. Но уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а, тщательно завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.

— Нет, не могу ждать! — повторил Порохонько и снова постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. — Я ж не могу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...

— Помолчите, Порохонько! — сказал Новиков резко. — Ешьте лучше кашу! Я не верю в это.

Порохонько побледнел, щетина стала чернее на щеках, подбородке, спросил нащупывающим голосом:

— Не верите? Что ж, может, и ордена задаром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Может, так?

И он зло вынул из кармана гимнастерки узелок с орденами, взвесил его на ладони, длинное лицо сразу стало замкнутым.

— Тогда возьмите, товарищ капитан!

— Давайте ордена, — сказал Новиков спокойно и протянул руку. — Значит, я ошибся...

Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости, и, хотя сейчас видел в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, он повторил сухо:

— Давайте ордена. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы тоже сдаете свои медали?

Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:

— А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: «Если меня убьют, доложи, мол капитану, что десять танков подбили. Порохонько, мол, четыре. — Ремешков сглотнул, кивнул в сторону Порохонько. — И прицелы, мол, отдай капитану».

— Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка. И ордена его, — то ли обращаясь к Новикову, то ли к самому себе, шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, мигая обожженными порохом ресницами. — Як быть, товарищ капитан?

— Спрячьте ордена, пока я не раздумал, — сказал холодно Новиков. — Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.

Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков повернулся к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил прямо:

— По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.

— Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Зачем? Замечательный ведь наводчик! — горячо заговорил Алешин. — Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, я ведь верю вам!.. Но он прав. Разве можно ждать? Терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан, мы оставили раненых?

Новиков сказал:

— Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько, — это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя?

— Вы убили его? — полуутвердительно сказал Алешин. — Я видел...

— Этого я не видел, — медленно ответил Новиков. — Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.

— Не верите ему?

— Не в этом дело.

— Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?

— Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.

Алешин молчал, брови слегка хмурились, каштановые волосы наивно лежали на незащищенно чистом лбу, открытом сдвинутым назад козырьком фуражки. Но весь вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия, — расчет его подбил четыре танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь, нежность шевельнулась в нем. «Он сохранил то, что потерял я, — жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял? — подумал Новиков. — Неужели это так?»

— У них ведь снарядов нет, товарищ капитан! — снова заговорил Алешин. — Пять снарядов — это почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем!.. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... — И спросил уже страстно: — Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?

Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, молчал.

«В отличие от меня, он понимает только добро в чистом виде, — опять подумал Новиков, вспомнив недавний разговор с Гулько. — Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе».

— Надо понять, — проговорил Новиков, — надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди, — значит, орудия существуют. Пять снарядов — не один снаряд. Это пять выстрелов по переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше. Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.

Он расстегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как осторожно вышел Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и, испытывая наслаждение, скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза — блеснули вспышки, ошутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно и невесомо возник чей-то голос: «Там раненые возле орудий... Где Овчинников? Овчинников убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть...»

Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос он с чувством мучительного преодоления дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он где-то стоял в тишине под фонарем у забора, падал снег, и она открыто, смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, чуть покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. «Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты веришь...»

«Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего ясность... Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?»

Вспышки исчезли, что-то глухое, вязкое душило его, наваясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу. Весь в испарине, он застонал, будто стиснутый в накаленном солнцем мешке, и от ощущения физического неудобства повернулся на бок. И, на минуту очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, что физически беспокоило его, — жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу сна, он, упираясь носком одного сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться от этой горячей тесноты и снова испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в сознании, не покидали его.

Громкие голоса, движение возле землянки заставили Новикова открыть глаза.

Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.

— Что там? — крикнул он, уже машинальным движением стягивая ремень, оправляя кобуру. И шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием: случилось что-то с орудиями, с Леной...

На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание, он, видимо, бежал от огневой.

— Что случилось? Орудия? Лена? — быстро спросил Новиков, по какой-то внутренней связи соединяя все в одно.

Алешин, подавляя возбуждение, доложил:

— Петин, товарищ капитан... От Гулько... там черт те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.

— Какие машины?

— Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней, тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию, откуда — непонятно! Вот гады!

— Пошли!

Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и тотчас Алешин остановил его:

— Пригнитесь, товарищ капитан! Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!

И указал на выщербленные белые отметинки — следы пуль на выступавших из земли торцах наката.

— Откуда обстреляли?

— Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!

Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова, — настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене дыма над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, снижаясь над улицами, высекая пушечные вспышки, скачкообразные, покрывающие все разрывы бомб потрясали землю.

— Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же... — Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся — пуля легла в пулю — и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине перед высотой мягко лопнул выстрел. Звук выст-

рела растаял бесследно, но показалось Новикову: стреляли недалеко.

— Надо бы выследить эту сволочь, — сказал Новиков и, слегка пригнув голову, двинулся по ходу сообщения. — Возьми на себя, Витя. Перещелкает людей поодиночке. Слышишь?

— Здесь не один, — ответил Алешин, оглядываясь. — Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют!

На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалаясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько — Петин. Сидел он, громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил громкими глотками, вздыхая через ноздри. Вода текла на разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал:

— Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее... А это что у вас с глазом?

Правая сторона большого лица Петина безобразно, неизвестно почему распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно косился на солдат. И Новиков, поняв, поторопил его:

— Говорите при них. Они все должны знать. Что, танки в городе?

— Прорвались... В центр, — глухо рокотнул Петин и снова громкими глотками отпил из котелка, вытер губы. — Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь, глядь — возле костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки — по стеклу, что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет голько...

Петин замолчал, неловко почесал глаз, с досадой указал на разорванную гимнастерку.

— А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам — от майора. Вот. Ответ пропишите.

Петин вынул из кармана кيسет, из него—аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным, четким почерком: «Посылаю с Петиним обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам—будет легче. Майор Гулько».

«Кому нужны сейчас эти сантименты?»—подумал Новиков и, хмурясь, сунул записку в карман. Сказал:

— Письма писать некогда. Передайте—батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?

— А там, внизу, под высотой,—полуобиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин. И спросил уже беспокойно и растерянно:— А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...

Новиков не смотрел на него.

— Всем—к машине, от огневой ползком, перебежать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям!—негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат.— А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам...

И, сказав это, внезапно и ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?»

Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражала Новикова своей вызывающей нестеснительностью.

— Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку,—приказал Новиков Петину.

И, нетерпеливо обождав, пока тот нехотя шарил по карманам, а потом вынул замусоленный, в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину. Неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и странно забелевший на крупном, грубо выдуб-

ленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя; единственный глаз неловко мигал в лицо Новикова.

— Да какой же госпиталь, товарищ капитан? — пытаюсь улыбнуться, бормотал он. — Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо... Спасибо, товарищ капитан! Некстати это...

— Смерть и ранение всегда некстати, — сказал Новиков, завязав узел, и легонько оттолкнул Петина. — Теперь двигайте к майору. Да только пригнуться и бегом. — И усмехнулся чуть-чуть. — Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом, марш!

— Счастливо вам...

Петин грузно встал, старательно одернул гимнастерку, перешагнул через бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил по высоте к скату, за которым только что скрылись посланные за снарядами солдаты.

— Ползком! — крикнул Новиков. — Гимнастерку жалеете? Ложись!

В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел, синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей огромной своей фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел. Потом неуверенно махнул рукой Новикову и сбежал, скатился по скату.

«Задело его? Нет, не может быть, не задело!» — подумал Новиков, странно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз — убивают.

И тотчас громкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться.

— Товарищ капитан, вроде из-под танка подбитого лупят! Не видите?

Алешин без фуражки — каштановые волосы светились на солнце — лежал возле бруствера, смотрел куда-то перед высотой, в белесую дымку, плавающую в котловине.

— Пошли к пулемету, покажешь! — приказал Новиков.

В ровике НП, перешагнув через дремлющих связи-

стов, Новиков спросил у дежурившего возле пулемета разведчика:

— Заметили, откуда бьют снайперы? — И, не выслушав его полусонного бормотания: «Да тут солнце в глаза бьет», — снял с бруствера ДП, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения. Установил на бровке.

Алешин лег грудью на стену окопа, прошептал:

— Правее орудия Овчинникова, на минном поле — подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы.

Это было то место, где ранило Овчинникова.

— Прощупаем, — сказал Новиков.

И выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под днища танка. Он быстро взглянул вправо и назад, на высоту, где обстреляли Петина. И увидел человека, низкого, плотного, коротконогого. Рыхло забирая сапогами, он бежал, видимый как на ладони, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не отнимая пальца от спускового крючка, обернувшись, крикнул Алешину:

— Какого... там шляются? Кто это такой? А ну, наведи порядок! Может, опять от Гулько!

Он установил удобнее локоть, прижал к плечу ложе пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днище танка. Неясно услышал окрики Алешина: «Ложитесь, ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мстительно взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял: теперь стреляли по нему. Загораясь знакомым чувством азарта, он крепче стиснул ложе, медленно прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер. И только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику:

— Новый диск! Быстро!

От орудий по ходу сообщений в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, нагнув голову, будто бодеясь, налитой и даже в талии толстый человек, квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты; и по этим бровям, по тучности и багровости Новиков, удивленный, узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке.

— А-а, интендант! — воскликнул Новиков. — Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились? — И улыбнулся строго нахмуренному Алешину. — Чуете, Витя?

Интендант подошел, спотыкаясь от поспешности.

— Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером, — повторил он, глядя Новикову в грудь.

— Присядьте, — посоветовал Новиков.

Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее лицо, подбородок. Делая это, поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему под мышки. Новиков сказал полусерьезно:

— Ну, вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата: простыни, белье, вино, продукты, — и счастливого вам пути! От орудий, советую, ползком, иначе, не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все.

Интендант молчал.

Он справлялся с одышкой, пот струями катился по лицу его, подворотничок врезался в шею, влажно потемнел, веки набрякли.

— У вас мое... оружие. Системы «наган», — сказал он негромко. — Прошу вас, мое оружие. Офицеру без оружия нельзя... Оно записано под номером. В документе...

— Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие, — сказал Новиков. — Наган! Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие...

Алешин неприязненно перевел взгляд на интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел в руке и, внезапно краснея, сказал презрительно:

— Товарищ капитан, если каждый тыловик...

— Отдайте, — оборвал его Новиков.

— Спасибо. Я сам погорячился, — сдерживая одышку, выговорил интендант. — Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...

— Я не умею говорить любезности, — вежливо ответил Новиков.

— Ладно, пусть так.

Вталкивая наган в кобуру, интендант повернулся тучной спиной, пошел по окопу, пригнув голову, косясь влево на поле, где вились дымки над танками.

— А по высоте — ползком! Ползком! — гневным голосом крикнул Алешин. — Быстро!.. Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то! — возмущенно сказал он. — Тыловой комод эдакий!

Новиков в это время, сильным ударом руки вщелкнув полный диск в зажимы пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла огромная, зловещая, кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо, все приближаясь, повисла над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким, ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что надвигалось на них и что понимал, чувствовал Новиков.

— Товарищ капитан, чеха ранило. В пехоту шел с термосом! Вон смотрите, в грудь его снайпер саданул!

— Где он?

— На огневой.

— Пошли.

Возле орудия сидел молоденький чех в новом, как бы еще хрустящем от свежести обмундировании, влажные, испуганные глаза пытались улыбнуться Новикову, белый пушок, покрывавший верхнюю пухлую губу, в капельках пота; юношески худые пальцы прижаты к груди, будто поймал что-то и не выпускал он. Рядом у ног стоял термос. Ремешков сидел возле на корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячье лицо чеха, вздыхая по-бабьи, повторял скороговоркой:

— Куда ж это тебя, куда? Эх, милый человек, неосторожно ты, они тут все пристреляли. В пехоту шел, землячок, к своим? Понимаешь, понимаешь по-русски?

— Добрый ден... — прошептал чех, закивал быстро-быстро, на секунду отнял руки от груди, снова молитвенно прижал их. — Рота... обед... Я — тр-р, катушка, связист... Шеста рота...

Он ясно смотрел Ремешкову в лицо, как бы

умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашивало худые пальцы чеха.

— Снимайте с него гимнастерку! Быстро! — приказал Новиков Ремешкову, взял у него индивидуальный пакет, повернулся к молча глядевшему на чеха Степанову. — Отнесите термос в шестую роту чехов. И передайте — ранен связист.

— Марице, Марице, повстаны, — серыми губами шептал чех, когда Новиков при помощи Ремешкова стал перебинтовывать его, и все смотрел туда, за озеро, где лежала Чехословакия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои, — связь была прервана. Телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, ничего не понять и нет возможности восстановить линию — она перерезана. Два часа спустя из парка, где стоял хозвзвод, прибежал, дрожа от возбуждения, ездовой, доложил, что особняк и парк обстреляли автоматчики неизвестно откуда, лошадь убита, один повозочный ранен. А доложив это, спросил неуверенно: «Может, место сменить куда подальше?» Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, приказал окопаться хозвзводу — всем, от повозочного до повара — на юго-западной окраине парка.

Мохнатое зарево, прорезав небо километра на два, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, мелькая, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным, воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали глухие и частые разрывы бомб — где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные «фонари» желтыми медузами покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу.

Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и слева на озере, на прибре-

жной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле, — за ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет сникал, тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами Лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом несло от пожаров города, и Новиков, казалось, чувствовал на губах привкус горелого железа.

В девятом часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя — снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они, в ожидании глядя на Новикова. Он сказал:

— Ждать нельзя, пора идти к орудиям Овчинникова. — Раздумчиво помолчал и повторил: — Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое: один ходячий — сержант Сапрыкин, двоих надо нести. — Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. — Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью, это ясно. Всем это ясно? — Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. — Поэтому на всю операцию — час. Взять побольше запасных дисков. У тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Порохонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать! Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все. — Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, повернулся к Степанову: — Сержант, дайте-ка мне ваш автомат! Как он у вас? Хорошо работает?

Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно круглым, как блин, задумчиво-добрым лицом своим, потом, насупясь, положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора, провел большой

ладонью по стволу, будто пыль стирал: не говоря ни слова протянул его Новикову.

Все молчали, оглядываясь на зарево, на розовеющее минное поле.

Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Порохонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом.

Порохонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехлах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки. Произнес вдруг отчаянно-насмешливо:

— Ну, покурим на дорожку, чтоб дома не журылись. Кто, хлопцы, даст на закрутку, тому жменю табаку дам! — И спросил негромко и серьезно Новикова: — Разрешите, товарищ капитан?

Новиков кивнул. Кто-то из разведчиков сунул Порохонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурочок. Порохонько, крикнув, присел, будто сложился вдвое, торопливо, наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурочок каблуком, выпрямился, говоря:

— Ось, полегчало, аж продрало, — и, покончив с этим просгым житейским удовольствием, чиркнул взглядом по фигуре Ремешкова. — А ты шо ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то некурящий?

— Я не... Я не курю, я ведь некурящий, — забормotal Ремешков заикающимся голосом.

Он торопясь вставлял диск в автомат, руки тряслись, напряженная шея наклонена, тень падала на лицо, и Новиков, вспомнив его вещмешок — горб на спине, недавний ужас в глазах, его унижительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость:

— Нога болит?

Ремешков молчал, повесив автомат через шею, так же молча скачущими пальцами застегивал шинель, ог-

лядываяся на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он будто знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке теперь уже не поможет, как не помогла прежде, и словно торопился, обрывая все, к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил несколько раз.

Новиков скомандовал вполголоса:

— Все по местам! Порохонько и Ремешков за мной, — и двинулся по ходу сообщения.

— Товарищ капитан!..

Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно белеющее лицо младшего лейтенанта, услышал его голос, преувеличенно равнодушный:

— Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так... от всех. Передайте... — Он сунул Новикову три плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием:

— Ни пуха ни пера, — и замер, опершись о стенку окопа.

— Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. — Новиков улыбнулся ему.

«Я второй раз передаю от него шоколад Лене, — думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений, которую не замечал. — Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что, я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?»

Они быстро спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.

— Я в пехоту, к чехам, ждать здесь, — приказал он шепотом и пропал в темноте.

Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда, и теперь Порохонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули на озеро, на высоту. Озеро все — до низкого противоположного

берега — теплело лиловым отсветом; высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева и так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно.

Справа, в стороне пехотных траншей, оглушив трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, сжался, сдерживая стук зубов, выговорил прыгающим шепотом:

— Тут... рядом... за кустами... Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит:::

— Ты чего это зубами стучаешь? Боишься, а? — спросил Порохонько, подозрительно-зорко оглядывая Ремешкова. — Чего тогда пошел? Для мебели? А ну, замолчи! Идет кто-то...

Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков, вытянув шею, покорно замолчал, вглядываясь вдоль ската высоты. Там, едва слышно шелестя травой, шел, приближался к ним человек. Ремешков, не выдержав, окликнул сдавленно.

— Товарищ капитан!.. — И, не услышав ответа, шепотом выдавил: — Смотри, на связиста наткнулся... на этого...

— Цыть! Какие тут тебе капитаны! Молчи! — зашипел Порохонько, стискивая трясущееся колено Ремешкова.

...Когда Новиков спрыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутьмы:

— Гдо там? (Кто идет?)

— Русский капитан. Это шестая рота?

Месяц вставал над Лесистыми Карпатами; в тени, падавшей на одну сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета — сидели на патронных ящиках, спиной друг к другу, курили, при каждой затяжке наклоняясь ко дну окопа. У ног их металлически светились груды стреляных гильз. Увидев Новикова, один вскочил, правой рукой, в которой была сигарета, козырнул, широко улыбаясь, как давнему знакомому, и сейчас же вскочил и второй пулеметчик, тоже козырнул. Они узнали его — Новиков был здесь полчаса назад. Оба с любопытством, белея улыбками, рассматривали Новикова, заговорили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом:

— Товарищ кап-питанэ... О, русове... Хорошо! Разумитэ?

— Разумею, — сказал Новиков. — Здесь командир батальона?

— Ано, ано (да, да), просим... товарищ... товарищ капитанэ. Просим...

Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел.

Командир батальона, высокий, с прямой спиной чех, сидел за столом в накинутом на плечи френче, глядел на разложенную карту, освещенную «летучей мышью», задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах — лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках.

— Капитанэ? — негромко воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, быстро надевая френч, застегивая его на груди. — Капитанэ, сосед, ано? Так по-русски? Сосед!..

Он протянул руку Новикову и, сильно сжав его пальцы, дважды тряхнул, не отпуская их, потянув книзу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым, — он выглядел человеком неопределенного возраста: морщины прорезали выбритые щеки, старили высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо глядели светлые глаза. Он почти силой усадил Новикова на ящик, потом, садясь напротив Новикова, подвигая к нему сигареты, заговорил по-прежнему негромко, — видимо, чтобы не разбудить спящих офицеров:

— Просим, сигареты! Я хотел... очень сказать... кто жив... из пушек?.. Вы имеете связь? Сигареты, просим...

— Спасибо, — ответил Новиков, закуривая сигарету, — Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу. К орудиям. Будем там около часа. Можно вашу карту?

— Да, да, очень просим, — закивал чех.

— Мы пойдем вот сюда. За ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение этого часа не надо освещать минное поле ракетами.

— Разумитэ. Очень понимаю, — заговорил чех, снова кивая. — Мы можем помочь... Много раненых во-яку? Я дам вам чехов...

— Пока этого не надо, — сказал Новиков.

Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии, за ней в долине, на черной нити шоссе Ривны — Касно, жирно обведенный красным карандашом город Марице,azole — кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, придвинулся ближе, пальцем провел от ущелья по шоссе Ривны — Касно — Марице, сказал:

— Марице! Огромная война, капитанэ! Словацкие партизаны ждут русских. Боюеме сполу за свóбоду! (Вместе боремся за свободу!)

— Немцы не пройдут к Марице, — сказал Новиков, глядя на карту. — Мы пройдем к Марице, к партизанам. — И пошутил: — Это, как говорят, не за горами! Ну, до встречи!

Он бросил сигарету в консервную банку, заменяющую пепельницу, поднялся, пожал руку командиру батальона.

— Желаю счастья, — сказал чех. — Вам стоит сказать йедно слово — и мы придем на помощь. Мы будем наблюдать.

— Спасибо. Значит, час без огня и ракет.

— Все будет так.

Командир батальона проводил его до конца траншеи.

После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в двадцати от траншеи наткнулся на тело убитого.

Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте, голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестящей ночной росой. Ноги убитого были сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста — не по лицу, а по худенькой руке и позе (тогда ночью, в особняке, он спал, так же положив голову). Новиков повернул Колокольчикова

лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. («Зачем? Откуда по мне стреляли?») Оно запрокинулось на слабой, тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.

Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет, в нем были документы — кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали «За отвагу», те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году... и, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны.

Он вспомнил: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет... сестра одна, адрес вот тут, в кармашке». И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне, он его не видел.

...Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат и как бы сразу вернулся к действительности. Он, нахмурясь, подошел к солдатам, скомандовал:

— Вперед!

Порохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым, за ним в нервном ознобе встал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте и идти не нужно будет туда, вперед — в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно:

— Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?

— Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? — ответил Ремешков слабым криком. — Разве я не понимаю?.. А совладать с собой не могу.

— Этого не хватило и Овчинникову, — сказал Новиков. — Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной.

— Цыть ты, цуцик несуразный! — злобно и сильно дернул Ремешкова за рукав Порохонько. — О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!

Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком. Будто дымящийся месяц мертво обливал синею пожухлые листья; немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты больше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, только слабо проникали сюда раскаты боя в городе.

Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, увлажняла рукава шинели; упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминированы кусты, только наверняка знал он, что наше и немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно, молча продираясь сквозь мокрую чащу. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унижительной, бесцельно глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его.

«Где начинаются и кончаются случайные немецкие мины? — думал он. — Где?»

Здесь, под прикрытием кустов, они двигались в рост по ничьей земле, и Новиков напряженно вглядывался в холодный сумрак, в подстерегающе-металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах, во всем теле знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот короткий момент, который решает все, — кто выстрелит первым. Он торопился, часто на ходу взглядывал на часы — отраженный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле.

И все время, не угасая, его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится этой ночью — через два часа, через час, через тридцать минут, но, что бы ни про-

изошло сейчас и ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки. Должны успеть...

— Шире шаг, не отставать! — не оборачиваясь, командовал шепотом Новиков. — Идти точно за мной. Ни на метр в сторону.

И, подав команду, остановился внезапно, подняв голову, осторожно отпуская рукой отогнутые ветви, и сразу идущим сзади стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина — и только громкий стук капель:

Порохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова, тотчас обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой.

— Стой! — прошипел он сквозь зубы.

И Ремешков вскинул бледно-зеленое лицо, стал, замер, часто задышал, вытягивая губы. Хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись.

Новиков и Порохонько молчали.

По тому, как лунно и пустынно засинело впереди, по тому, как тихие квакающие звуки донеслись откуда-то слева, от озера, Ремешков понял, что кусты кончились и впереди голое чистое поле до самой возвышенности, где стояли орудия Овчинникова, откуда давеча бежали... Утром здесь были немцы.

Ремешков с напряженным ужасом, с ожиданием смотрел на шевелившиеся в кустах спины Новикова и Порохонько — они молча глядели сквозь ветви на синее впереди поле. И оттого, что его прерывистое, шумное дыхание, казалось, заглушало все и поэтому он плохо слышал, и оттого, что они непонятно молчали, а он не видел и не старался увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное мление под ложечкой, ожидал только одного — резкой, беспощадной команды Новикова: «Вперед!» («Боже мой, неужто он не боится умереть?») Вот сейчас, сейчас «вперед!» — и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь... Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия и били. Он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым. И Порохонько и Новиков это знали.

«Маманя, помоги, маманя, помоги, может, и не вернусь отсюда! Может, погибну. Маманя, помоги...» И хо-

тя Ремешков никогда не верил в бога, ему хотелось страстно, горячо, исступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне! Колокольчикова убило, так спаси меня...»

— Тихо! — еле различимым шепотом приказал Новиков. — Вы что, Ремешков? Тихо! Приготовиться! Прорываться будем!

И Ремешков, не замечая того, что делал, опустился, сел на землю, хватаясь за кусты, — ноги ослабли.

Но в эту минуту ни Новиков, ни Порохонько не заметили этого. Они следили за чем-то сквозь ветви.

Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к ало-голубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица. И другая приглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее, из минного поля.

— Что за черт! Слышите? И птицы... на кой здесь? — шепотом выругался Новиков, не спуская зорливших от напряжения глаз с поблескивающей котловины; не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.

— Побачьте-ка, — как клещами сжав локоть комбата, прошептал Порохонько, обдав табачным перегаром. — Видите? Во-он двое пошли... Видение? Не?..

Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в сорока от кустов, один нес что-то, потом оба нагнулись, исчезли; и тотчас с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала услышал справа от кустов неопределенное угадываемое позвякивание — из синего сумрака выдвинулись в котловину эти трое. Остановились, ожидая. И, как бы оторвавшись от земли, на которой он делал что-то, присоединился к ним еще один, стал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат, — Новиков хорошо различал его. — и тотчас нагнулся к земле, слился с ней.

«Разминируют поле? Значит, это саперы, немцы, — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. — Так вот почему они прекратили атаку!»

— Що будем делать? — опять обжигая табачным дыханием, прошептал Порохонько. — А, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?

Новиков сказал, сделав шаг назад, продолжая глядеть в котловину:

— Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям! Броском вперед, больше огня — прорвемся!

И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, почти беззвучно двинул затвором. Пристально посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, стоял перед Новиковым, как на ватных ногах.

«Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова и то, что хотел подумать еще, — не успел.

Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, потом разомкнув веки, увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина Порохонько, без ног, без рук, из-за этой спины рвалось что-то обжигающе огненное. Спина круто повернулась на мгновение к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался снап пулеметных трасс, другой, длинный, прерывистый, вихрь мелькнул мимо плеч Новикова — и все впереди, справа и слева заклокотало, сдвинулось, забило, крутятся и качаясь в раскаленной карусели. И только сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание: словно надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта.

Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом:

— А-а-а, га-ад! — Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги («Автомат, автомат скорей!»), и, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.

«Я убил его, — мутно скользнуло в сознании. — Сволочь, к горлу тянулся! Сволочь паршивая! К горлу...»

Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова: «Где капитан? Где капитан?..»

Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев сразу Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, иступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя, оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, охваченный бешенством, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, суетливо вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью дергая спусковой крючок, заломил, как оборвался клетот там, в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел, задушить!..»

А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, донеслись до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог увидеть того, кто звал его.

— Ремешков! Сюда! Ко мне!

«Это капитан Новиков, его голос, он кричит! Да что же я молчу? Ранен он, может?..» И он выдал из себя шепотом:

— Я здесь...

Не договорив, увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова — он почему-то не бежал

вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь, в котловину; отчетливо бросилось в глаза до фиолетового свечения накаленный ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки; трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.

— Ремешков? Вы это? Быстрей! — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. — За мной! За мной!.. Ремешков!..

И повернулся, задержался на мгновение, поспешно подняв раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова обернулся резко.

— Не ранены?

— Нет, — просипел Ремешков.

— Вперед! К Порохонько! Вверх, вперед!..

«Это он за мной вернулся, за мной?» — пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он будто споткнулся, рванулся к Новикову, навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его.

— Товарищ капитан... бегите... Я здесь, я... вас прикрою... товарищ капитан... бегите...

Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.

— Вперед!..

— Товарищ капитан!..

— Вперед! — крикнул Новиков и круто выругался.

И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх, по пологому скату.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тишина, душная, беспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытый полой шинели, не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в пятидесяти метрах от блиндажа, лежали те, кто еще угром откликал-

ся на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей — тянулись вертикально, фитили в плошках горели бесшумно.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов, — понимали: это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они.

Все знали: одно лишь живое дыхание было там наверху — в четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил (слышно было, как кресал зажигалкой), звучно сплевывал, ругаясь («Гады, что задумали? Куда расползлись все?»), иногда, громко кусая, принимался жевать галету, беззлобно ворча («Обман серый, солому прессуют!»), порой, постукивая каблуком, вполголоса напевал нечто отчаянное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности:

Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не целуй меня,
Хулиган такой.
Рыбачок милой,
Дурачок ты мой,
Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би...

И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда почему-то переставал стонать раненный в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Лягалов возле него.

— Что это он, Лена?

Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, перево-

дил взгляд с огоньков плашек на Лёну, сидевшую на снаряжном ящике; спрашивал тихо:

— Заснул? — Он слабо улыбался. — Заснет он, возьмут нас тут, как кур... Вот парнишку жалко, — и сожалеюще кивал в сторону Гусева.

— Вам не нужно беспокоиться, милый, лежите, ни о чем не думайте, — говорила Лёна ласково-успокаивающим шепотом. — Все будет хорошо, милый...

Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из земли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть...

Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая, на столе — то ли оставленный с целью, то ли забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось как сквозь серую, знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все: были бесконечные пороховые удары в уши, чесночно-ядовитый запах гильз, запах пота, крови, почему-то теплых бинтов. И все время хотелось пить, а потом назойливо, липко, как желание вспомнить что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чего-то неясного, незавершенного, тягостной необлегченности.

— Водички бы, Лёночка, глоточек бы... Жжет все...

Лёна встала, подошла к нарам.

Лягалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли; некрасивое, как-то сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, уже тронутые смертью губы почернели, выделялись четко. Он шептал просительно:

— Водички бы, Лёночка... холодной. — И сморщился виновато и жалко. — Или кваску бы... со льда. Газировку бы... тоже...

— Потерпите немножко... нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут. Несколько минут... Скоро в медсанбат, там врачи, все, — убеждающе зашептала Лёна, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. — Нельзя вам воды, нельзя...

Лягалов, облизывая губы, молчал, не понимая, остановив углубившиеся глаза на наклоненном лице ее. Как бы пересиливая себя, он особо внимательно слушал ее голос и что-то еще другое, что было слышно только ему за этим голосом, то, что происходило будто за спиной Лены. И как-то уж очень покорно, согласно он перевалил на шинели голову вправо и влево, потом, глядя в потолок блиндажа, прошептал осмысленно:

— До медсанбата... не дотерплю.

— Вы будете жить, врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть... Потерпеть...

Она зашептала эти ласково и страстно, нежно обманчивые слова, что всегда почему-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя — эти ложные слова приносят умирающим последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе.

Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но только глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой... Ее не было у него, этой надежды.

И она поняла это.

Лягалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее, горько задрожали веки. Потом вдруг произнес шепотом, умоляюще:

— Воды, Леночка... Холодной бы... Поспешать мне... не дотерплю...

— Хорошо, — беззвучным движением губ проговорила Лена. — Хорошо.

И слабо прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, стояла спиной к Лягалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он осмысленно ждет, потом неуверенно вынула чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление в себе, не было жестоким обманом ни его, ни себя. Это было последнее, что она могла сделать для него.

«Кажется, это он сказал, что готов воевать двести раз, чтоб только не было женщин на войне, — почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. — Да, это он сказал тогда ночью».

— Только спокойно, милый... Не двигайтесь, глотайте, — заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Лягалова, и налила в ложечку воды. — Сейчас не будет жечь, пройдет... Все пройдет...

Лягалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, глядя на его покрывшийся испариной лоб, с ужасом чувствовала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно.

Она дала ему четыре ложечки, сидела, положив ладонь на влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Лягалов пошевелился, глаза закрыты, будто тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу.

— Знал я, — прошептал он.

— Что? — спросила Лена. — Что?

— Как будто знал я... — Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно пошевелил пальцами. — Здесь вот... В сердце было...

— Что было? Что?

— Приснилось... вчера... — выговорил Лягалов, открывая глаза, полные слез. — Вернулся я... После войны... Ребятишки вокруг. А жена отвернулась, поцеловать... не захотела... А я ведь души не чаял. Красивая... а за меня, уroda, пошла... И ребятишки, четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня... убило? Разве виноват?..

И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Лягалова, сотрясли все его тело, и он, застонав, повернул голову к стене, замолк сразу, будто захлебнулся, потом прошептал едва слышно:

— Это я так... это ничего... Ты меня не слушай, Леночка... Пройдет... мне бы Порохонько еще увидеть... Я ведь любил его... уважал...

Лена молчала.

— Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми,— вполголоса произнес Сапрыкин.

Он слушал Лягалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски. Услышав звуки, похожие на сдавленные стоны, опустил глаза, долго молчал, потом проговорил негромко:

— Порохонько тоже любил тебя, Лягалов... Только остер на язык... А так добрый он человек. — И хмуρο повернулся в сторону Гусева. — Вон и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ль, ему, Елена? Лопочет чегой-то мальчонка.

Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, молоденькое, почти ребячье лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону. Он бормотал, задыхаясь:

— Я связист Гусев, а остальные тут одни... убитые. Овчинникова нет, одни убитые... Снарядов пять штук... А мне постели на диване, мама... В шкафу простыни-то... в шкафу...

Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на этого пожилого, спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее мягко, сочувственно, что-то догадливое мелькало в усталых глазах его. Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом. И сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа:

— Лена, ко мне! Сюда!..

Лена не вздрогнула, но как-то очень уж решительно потянулась к пистолету на столе, сказала:

— Это меня. Поглядите здесь.

Сапрыкин сел.

— Сперва, Лена, подала бы мне автоматик, — медленно сказал он. — Вот сюда, под руку мне. — И заговорил, устремив взгляд на огни плошек: — Я свое пожил. И в ту войну Советскую власть защищал, и в эту пошел. Два сына взрослые у меня, оболтусы здоровые. — Усмехнулся одними глазами. — Недаром прожил. Так вот что... — Он замолчал, посмотрел на дверь — из тишины от орудия вторично и громче донесся голос Горбачева:

— Лена, сюда!..

И Лена, надевая на ремень игрушечно-маленькую лакированную кобуру, потрогала пистолет, внезапно

вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так, поранить можно». Быстро застегивая ремень, чувствуя неудобное прикосновение кобуры к бедру, Лена повернулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом: «Говорите, я слушаю».

А он с трудом сидел на нарах, опираясь двумя руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь; густая седина светилась в его волосах.

— Так вот что, Елена... Запомни и с своей совести это возьми... Меня и их, — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Лягалова, — на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся... Живьем не отдам — не-ет! Только когда невтерпеж станет там, наверху, ты сообщи: мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света... Ну, иди, иди!.. Да больше о себе помни да о Горбачеве, вам жить да жить. А война-то вон к концу... Детей еще родишь...

Лег он, медленно опускаясь на задрожавших от усталости руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо, неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена, как улыбался он, и никогда не замечала эту щербинку у сержанта.

— Детей еще родишь, — повторил он и обессиленно рукой махнул. — Только не перечь мне, ради бога... Иди!..

И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненые на нейтральной полосе почти никогда не попадают в плен. За два года она и себя приучила к этому. Но ни Сапрыкин, ни Лягалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена внезапно повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать:

— У нас еще пять снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.

И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи.

Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдал за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом:

— Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. — Отодвинул диски, освобождая место. — Ложись, не стесняйся... свои.

Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева, в упор освещенное месяцем.

— Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку, — сказала и смело положила ладонь на его руку, охватившую спусковую скобу.

Он пошевелился, но локти от пулемета не убрал, только подмигнул утомленно, дружелюбно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, черные волосы упали на черные с блеском глаза, из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица. Прошептал полшутливо:

— Мне эти санитарные жалости до Феньки! Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, а сними их. Чуешь — обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?

— Подите к черту, — сердито сказала Лена, не принимая полшутливого тона его.

— Ясно. Посмотри-ка сюда, вперед, — зашептал Горбачев, — вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее...

Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева, маленькая чужая кобура сползла по ремню, жестко впилась в бок. И это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу, в глаза. Вокруг синел лунный сумрак. Поле возле огневой было полно черных кривых силуэтов сожженных танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в пятидесяти впереди мутно серебрились редкие кустики, ближе — широкими застывшими пятнами обрисовывались два тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то шевелилось, осторожно передвигалось там, заслоняя светлый кори-

дор. Одинокий зовущий крик птицы отделился от танков, прозвучал в зыбком воздухе, смолк. И тотчас другой крик прерывисто, негромко ответил с минного поля, правее танков, и тоже смолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве перебежали, чуть пригнувшись, несколько метров по скату и будто растаяли в сумраке котловины.

— Это немцы, — сказала Лена и откинула волосы со щеки. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? — спросила она быстро. — Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход... Разве вы не видите?

Горбачев молча прислонился переносицей к прикладу пулемета, лежал так несколько минут и вдруг, точно очнувшись, сбоку прищурился на тонкий профиль Лены, — она чувствовала его взгляд, — сказал устало:

— Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют! Вот гадюки! Значит, или разведка, или поле разминируют? Так? Готовятся? — И, ожесточенно сплюнув через бруствер, повторил: — Или разведка? Или саперы?

— И то и другое может быть, — ответила Лена, стараясь говорить спокойно. — Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, поздно будет. Тогда будет поздно!

— Эх, и умна ты, девка, ох, умна-а! — с восхищенным вздохом произнес Горбачев, придвигаясь к пулемету. — Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть! Рядом с тобой умирать страшно: кто тебя целовать будет — наши или чужие?

— Не беспокойтесь. Никто.

— А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму...

Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинул локти, и, прижимая к ключице приклад пулемета, он ждал несколько минут, остро прищурясь. Она успела уловить бесшумное движение теней в лунном коридоре — внезапно над ухом очередь прорезала тишину, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилось, дробясь, пламя пулемета. В всплесках его мелька-

ли стиснутые зубы Горбачева, прыгали черные волосы на лбу. И все смолкло так же внезапно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще сразу и полностью не ощутив после стрельбы тишину:

— Давай в блиндаж! Сейчас начнут! — И добавил неожиданно злобно: — Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу! Матерюсь я, как зверь! Слышь!

Она не встала, не ушла, только улыбнулась ему понимающе-спокойно, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку. Потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила:

— Полный диск? — и, отведя пальцами волосы от щеки, договорила: — Я ведь тоже умею стрелять.

И выпустила две длинные очереди туда, в светлымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение. Снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала ему, лишь по-прежнему улыбнулась странно.

Он смотрел на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, губам, лбу, коротким волосам. Потом придвинулся, сказал уверенным шепотом:

— Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь!

— Глупый, — сказала она снисходительно-ласково. — Тогда я сама поцелую тебя...

Они замолчали. Смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Молчали и немцы. И было непонятно: почему не отвечали они огнем, ни одним выстрелом, будто не было их там. Отдаленный крик птицы донесся откуда-то снизу, с минного поля, никто не ответил ему. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно-тайное, отзывалось тревожно-ноющим ощущением в груди.

— Слышите? — шепотом спросила Лена.

Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли оттуда прозрачным, знойным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели, эти звуки, о чем-то сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордеона, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждали кого-то, что мир прекра-

сен, влюблен, что где-то за тридцать земель есть электрические огни, блеск зеркал и люстр, рестораны, хорошее вино, не забытый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаждения: «Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретешь все это».

— Успокаивают себя, — сказала Лена задумчиво.

— Похоже, и нас. На психику нажимают, — ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета. — Патефон крутят. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку, на всю железку! — Горбачев вздохнул. — Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил до невероятия! Да и она любила меня! У нас, у рыбаков, деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали: Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чесу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить! А у меня бригада была — орлы парни, девчатки — красавицы. По две, три нормы давали. Портреты, слава! Потом — земля напрокид! Поняла юмор этого дела? Знаешь песню?

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Лежа с автоматом, Лена молчала, только улыбнулась по-прежнему задумчиво. Патефон в немецких окопах стих — растаяло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился — лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла здесь тишина. Только со стороны зарева, встававшего справа за котловиной, над высотой, долетали перебаты боя. Лена сказала полувопросительно:

— Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?

— Нет.

— Тогда не надо беречь патроны...

Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихо-

светлой щели между танками. Сделала паузу, ожидая ответного огня. Оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву:

— Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.

Немцы молчали. Снова поплыло звуковое облачко от той стороны озера, сосредоточенно и исступленно выбивал синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки...

И вдруг порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. Тотчас неясный, какой-то заячий вскрик донесся оттуда, и сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы — на слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправила кобуру.

— Они прошли! — сказала она. — Это они...

Горбачев вскочил, рывком поднял пулемет, рванул-ся к правой стороне огневой, крикнул:

— Диски неси! Началось! Быстрее!..

И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс, они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы.

— А, гады!

Он сразу понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла диски, легла рядом, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложу, опаленное красными выплесками пулемета.

— А, гады! Прошли-таки, прошли! — И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата: — В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!

И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата. Выстрелила длинной очередью. Колющие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда за-

метила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе:

— Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел, — и пошла к блиндажу.

Она остановилась в ходе сообщения, стараясь делать все расчетливо-спокойно, и, вдруг, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук, горит плечо и что-то горькое, острое стоит в горле, трудно дышать. Она вспомнила: «...звоночек с того света», — и торопливо раскрыла дверь в нагретый полусумрак блиндажа. Ощупью спустилась по трем земляным ступеням. Запахло теплыми бинтами.

Слабо стонал, всхлипывая, Гусев, неподвижно-плоско лежал Лягалов лицом к стене. Огоньки плашек чуть приседали, шевелились. И Сапрыкин уже не лежал — сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях, внимательно глядел на беспокойные язычки свечей. Вздрогнул головой, услышав шаги Лены, перевел взгляд, догадливый, умный, на ее лицо. Судорога, похожая на улыбку, тронула его губы, показывая щербинку меж зубов. Спросил:

— Началось?

— Все скоро решится, — ответила Лена. — Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат. И успокойтесь. Что Лягалов? Ничего не просил?

— Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.

— Бедный, — сказала она с состраданием.

Она наклонилась над Лягаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали, подшла к двери блиндажа, потом к столу, где спокойно, напоминая о мирном уюте, блестела в свете колеблющихся плашек чайная серебряная ложечка, затем снова вернулась к двери и снова к столу. И, глядя сухими темными глазами, села на ящик.

— Что? — спросил Сапрыкин обеспокоенно. — Спит? Что молчишь, Елена?

А она, опустив руки на колени, закрыв глаза, — синие тени легли под ними, — отрицательно, жалко покачивала головой, потом положила руки ладонями на стол, легла на них щекой с выражением страдания.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Толкнув дверь в блиндаж, он вошел, пошатываясь, еще стискивая одной рукой автомат на груди, в расстегнутой шинели, медленно спустился по ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Тонкое шитье автоматов, не смолкая, доносилось сверху. Горела лишь одна площадка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, позвал хриплым, сорванным голосом:

— Лена!..

Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица — поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, открытым испугом, а он стоял в нескольких шагах от нее, в тени, не двигался. Она хотела произнести: «Новиков?» — но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь.

— Лена, все живы? Здесь раненые? — спросил он уже громко, и это был его голос, Новикова.

Он шагнул из тени на свет, к столу, прямо к ней, и вдруг она ясно увидела его лицо: незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее — ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут был ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней неузнаваемо, сокровенно, родственно. Она молчала, глядя на его лоб взглядом, готовым к ужасу.

— Лена! Ну, что это вы? — Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она.

Уголки ее губ внезапно мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно прижалась лбом к его пахнувшей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала шепотом:

— Лягалов умер... С Гусевым нужно торопиться. Немедленно в госпиталь. Немедленно...

Он снова взял ее за плечи, со смущенной неловкостью и неудобством отстранил, спросил, хмурясь:

— Только зачем слезы?

— Нет, это не слезы, я не умею плакать! — зло, ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо.

И внезапно, подтянувшись на цыпочках, отвела мокрые слипшиеся волосы на его виске, поспешно повернулась к столу, доставая вату из сумки.

— Ранило, да? Подождите, посмотрю...

— Царапнуло. Сбоку, — ответил он, быстро оглядывая блиндаж. — Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Порохонько и Ремешков уже делают из плащ-палаток носилки. На сборы — пять минут. Перевязку потом. Сапрыкин! — почти ласково позвал он, шагнув к нарам. — А вы чего же, сержанг, притихли? Дойдете — или на носилках? Вытерпите? — И добавил серьезно-грустно: — Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.

Сапрыкин, как-то сразу ослабев, лежал, не подымая головы, перебинтованная его грудь ходила гяжело. Посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу спокойным взглядом, ответил шепотом:

— Что было — не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.

Новиков выпрямился.

— Я сейчас вернусь, — сказал он. — Собирайтесь.

— Куда вы? Зачем? — спросила Лена, прижимая вату к лузырьку со спиртом.

— К орудию Ладьи. Мне надо посмотреть, — ответил Новиков.

— Там все убиты, товарищ капитан, — тихо проговорила Лена. — Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?

— Мне надо увидеть самому, — повторил Новиков. — Самому.

Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым — месяц набрал высоту, далеко светил над просгупившими вершинами Карпат, слева от зарева.

На огневой, переругиваясь шепотом, задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Порохонько и Ремешкова. Горбачев лежал, дежурил у пулемета, звучно сплевывая через бруствер; казался равнодушно-спокойным. Увидев Новикова, спросил безразличным шепотом:

— Этим же путем прорываться будем? Ползают они тут в котловине, как клопы.

Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил:

— Этим же путем. Вы вот что: в крайнем случае прикройте меня огнем. Пойду к четвертому орудию.

Орудие старшего сержанта Лады стояло в сорока метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнув он через полусметенный осколками бруствер — страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо стояло в этой яме, щит пробит, накатник снесен. Затвор открыт, повис. Круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, густо стоял здесь, будто в чаше.

Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что было людьми. А то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбросанными, втиснутыми в землю гильзами. А он все искал среди этих обломков ящиков, среди гильз, отбрасывая их руками, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди.

Он не нашел ни одного целого снаряда даже в нишах — понял: они расстреляли все. Потом шагнул к сошникам. Что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало там в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем — колючий, исковерканный, без эмали орден Красной Звезды. И долго смотрел на него, никак не мог вспомнить, чей это был орден. И, не вспомнив, сунул в карман шинели.

Он знал, что надо уходить, но почему-то не было сил уйти отсюда, что-то притягивало его сюда, — он должен был понять все.

Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, вдруг, подняв голову, увидел слева от позиции, в командирском ровике, что-то круглое, неподвижное, темнеющее на бруствере. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сгорбившийся, лицом вниз, уткнув лоб в руки, в сжатые кулаки, будто думал; темный, замасленный погон вертикально торчал, на нем светились вырезанные из консервной банки орудийные стволы, аккуратной полоской белел воротничок — только, видимо, пришел перед боем. Бинобль валялся рядом.

Это был старший сержант Ладья.

Новиков осторожно положил Ладью в ровик — плечи сузились, он стал совсем маленьким, голова Ладьи откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он какую-то команду, но не услышали ее возле орудия, — может быть, не было уже никого там в живых.

Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки.

И, оглядевшись, Новиков понял, как погиб Ладья, весь расчет. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их — сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, — ни Ладья, никто из расчета рассказать не мог.

С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных неприятных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.

— Кто идет? — шепотом окликнули из темноты.

— Свои.

На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали только его. Молча шагнул к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Порохонько. Он выкладывал из ящика снаряды, сидел на корточках, спина его тряслась, будто давился он; Ремешков с удивленным лицом глядел на него, стоял на коленях рядом.

— Что? — быстро спросил Новиков.

— Не надо его, — ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. — Он Лягалова похоронил.

Неспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке; Лена что-то бесшумно делала возле его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев, из-за широкого плеча старшины торчал ручной пулемет, через шею висел автомат. Ласково хлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил вполголоса:

— Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядочке. Понял?

— Эх, графиня польская, полюбовница... не уберет друга, — проговорил сквозь стон Сапрыкин. — Чего же надрываться, Порохонько? Мертвых не воскресишь...

— Приготовиться! — скомандовал Новиков и спросил: — Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?

— Пять. — Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать. — Пять. Два бронебойных. Три осколочных. Сам считал.

— Порохонько и Ремешков, ко мне! — позвал Новиков. — Готовы снаряды? Зарядить! И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. — Он впервые назвал ее при солдатах по имени. — Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Порохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я... Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам — на высоту!

...В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер — последний взрыв гранаты будто толкнул его в спину. Люди уже шли по скату, спускались в котловину, удаляясь, и он плохо видел их после слепящих выстрелов орудия. Внезапно впереди возникли, заколыхались согнутые спины Порохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы, — она неслась вдоль котловины; дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пу-

ли летели в двух метрах от земли, не повышаясь, не понижаясь.

— По котловине — ползком! — крикнул Новиков. — Лена и Горбачев, вперед!

Он упал на скате — головой к озеру, ему хорошо был виден этот клокочущий пулемет. «А, — сообразил он, — ждали, значит? Догадывались?» И тотчас выпалил очередь, рассчитывая патроны по нажиму пальца.

Шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими, экономичными очередями, он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул: появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее и как неожиданно смутился он, — может быть, оттого, что крепко пахло от него потом и порохом, и, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней, оттого, что она сейчас стреляла рядом, эта женщина, которая беспокойно и колюче жила в нем, как он ни сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом:

— Ползком вперед! Вперед, слышите, Лена?

Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины — светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить, могут убить! — пронеслось в сознании Новикова. — Нет, нет, ее — нет!»

Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, быстро шли Порохонько и Ремешков, неся Гусева на плащ-палатке. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины.

Тотчас с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева. Пули резали по скату.

«Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Ле-

на?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз, в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, в это время химический, желтый свет с шипением поднялся над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распалась ракета. Одновременно с этим светом в небе внизу, на земле, возник другой свет — остро, низко резанула по скату рябящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины впереди.

При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева; Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподымала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета.

— Что у вас? Почему остановились? — крикнул Новиков, падая рядом. — Почему остановились?

— Заело, сволочь! — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. — Перекос, как на счастье! Сволочь!

— Вперед! К кустам! — скомандовал Новиков. — Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина, вперед! К кустам!

Лена отстранила фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно:

— Он умер.

— Я говорю — вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять, — повторил Новиков и махнул автоматом. — К кустам! Ну?..

Горбачев выдавил ругань, далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря со вздохом:

— Дай-ка я его возьму, папашу. Эх, не дошел, парт-орг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон губы в крови. Губы кусал...

— Я помогу, — сказала Лена прежним, непротестующим голосом.

И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В новом свете ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью, блеснула

маленькая лаковая кобура на боку. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины, только как бы из-за тридевяти земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос: «Ой!» — и сквозь дым увидел, как Лена осторожно села на землю, опустив голову, слабо потирая грудь.

— Лена! Что? — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, и, встав на колени, взял за плечи, почему-то чувствуя, что вот оно случилось рядом, возле него, что-то неожиданное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось.

— Лена! Что? Ну, говори!.. Ранило? Куда?..

Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы.

— Куда? Куда ранило?..

— Кажется... кажется... нога.

Он услышал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его потом, — мгновенно гимнастерка прилипла к спине, — рывком сдвинул автомат за плечи, сказал незнакомым себе, чужим голосом: «Держись за шею», — поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела.

Охватив его шею, она говорила покорно:

— Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть...

В кустах он собрал людей — Порохонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.

— Дорога на восток уже перерезана. А впрочем, это неважно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.

— Завтра. Ранение совсем не страшное. Ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?

Он сел возле нар на снарядный ящик, долго, молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышинным шорохом осыпалась в углах.

— Совсем приятно, — сказал Новиков, — кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.

Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся — она редко видела его таким, потом полез в планшет, достал остатки старой махорки. И сейчас же, сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынув три плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.

— Ну вот, совсем забыл, — пробормотал он. — Для тебя. Алешин передал. Все время помнил — и забыл. Вылетело из головы. Со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.

— Алешин? — полуудивленно спросила она. — Мне? Шоколад?

— Да. Хороший он малый. И, наверно, в тебя влюблен. Это очень похоже, — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.

— В меня? — Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым, легким смехом. — Он ведь ребенок, — договорила она. — Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что!

Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко:

— Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?

Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему; и он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ожидающую улыбку.

— Послюни здесь. И все будет готово, — попросила она шепотом.

— Ты сама, — сказал Новиков. — Это у тебя лучше получится.

Он чувствовал: что-то нежное и горькое овеивало его, это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее, после того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая грудь, и эта незнакомая горькая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху, к этой маленькой сигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам, — они, падая, мешали ей, заслоняли щеку.

Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и, внезапно отстранив от губ, проговорила решительно:

— Нет, ты сам.

И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко:

— Ты что, Лена?

— Свертываю тебе папиросу... Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. — И заговорила быстро, глядя, как он прикуривает, по привычке загородив ладонями огонек зажигалки: — Я замечала: больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше? А вот ты неосторожен, я замечала... Ты действительно не дорожишь жизнью?

— По-настоящему я не жил, — откровенно сказал Новиков. — Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного инстигута, книги, настольная лампа. Прошое можно уложить в одну строчку. В настоящем — одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется?—

И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью: — А может быть, и по-другому...

— По чему «другому»?

— В сорок первом году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе тысяч десять. Были с нами, мальчишками-студентами, и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость, даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне... А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах. Аккуратно выстроили нас. И расстреляли, наверно, половину. Остальных — тысяч пять — сбили в колонну, погнали на запад, мимо Смоленска.

— И что?

— В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой гуманности.

— Я знаю их, — сказала Лена, ненавидяще сузив глаза. — Я знаю, как и ты! Они влезли в нашу жизнь! Но ты береги себя... Разве нельзя как-нибудь... беречь себя?

— Но я берегу, — проговорил он и улыбнулся. — Я это знаю.

За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он; улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим; и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает, — было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей.

Двойной разрыв возле блиндажа тяжело сдвинул, колыхнул нагретый воздух. Шумно посыпались комья земли на солому, со звоном упала гильза на столе, дребезжа, скатилась на пол, сразу погасла, точно придушило огонь. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета.

— Это танки, — сказал Новиков и встал.

— Новиков! — замирающим шепотом позвала Лена. — Только не зажигай гильзу, скажи... Я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею. И знаю,

что ты думал. Слушай... ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из восьмьдесят пятого. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его. И ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи...

Он молчал.

— Ты можешь поцеловать меня? — спросила она, не шевелясь.

В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот; часто, с щемящей нежной болью, оглушившей его, сдвигало сердце. Он ощупью приблизился, наклонился к ней — она лежала, — руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, ее влажные пальцы скользнули по его шее, по погонам, воротнику шинели, дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, иступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.

Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.

— Мне надо посты проверить, посмотреть, — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, рук и, не находя от этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой: — Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку... Зажечь лампу?..

— Нет, — ответила она. — Не зажигай, не надо. Иди... Я жду...

После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато подымалось за высотой над городом; и показалось сейчас Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слигные звуки боя гремели оттуда приближеннее, четче — придвинулись с запада к высоте вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, скользили там, среди огненного моря, выгнутые хвосты реактивных мин; нагоняющие один другой разрывы все ощутимее, все полнзвучнее, все тяжеловеснее отдавались на высоте.

Новиков долго смотрел туда — на яркое мигание сигнальных ракет над берегом озера, на низкие траектории

танковых снарядов на окраине, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов; и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая горячие, покорные плечи Лены, еще ощутимо, пьяно жило в нем: близость ее тела, влажные пальцы на шее, податливые, отдающиеся губы. И не верил, что только что по-мужски впервые целовал женщину там, в землянке, и она целовала его с иступленной решимостью, готовая отдать ему себя.

Он пошел по траншее. Возле огневой позиции вполголоса окликнул часового. Никто не отозвался. Перешагнув через бруствер, увидел часового — Ремешкова — и весь расчет: сидели на расстеленном между станин брезенте. Разговаривали шепотом. Курили. Спал один Горбачев. Лежал на снарядных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался неспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами. Из голенищ забыто торчали автоматные магазины, — видимо, давили ноги.

Увидев Новикова, все разом повернули головы, пристально, ждуще посмотрели на него. Ремешков, до этого говоривший что-то, вытер ладонью рот, сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым.

— Почему не спите? — спросил Новиков. — Бой начнется, носом клевать будете?

И сел на бруствер. Порохонько вдавил окурочок в землю, мрачно, с перерывами вздохнул. Потом охватил худые колени, хмуро уперся в них черным небритым подбородком, узкое лицо передернулось выжидающей усмешкой:

— Эх, товарищ капитан...

— Танки спать не дают, — пробормотал наводчик Степанов.

Застенчиво улыбаясь, он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, крепко обвитые обмотками. Ответил и кашлянул, потер, потеревил широкое, как блин, лицо свое, как бы очищая его, зачем-то посмотрел на руку. Пальцы дрожали.

— На окраину танки вышли. Лупят по высоте прямой наводкой, — снова произнес он виновато. — Видать, сильно жиманули наших в городе. Драпанули там... Может, наш фланг только и стоит?

— Жиманули? — переспросил Новиков.

— Может, этой ночью и в живых нас не будет, то-

варищ капитан, — робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя круглые мягкие щеки.

— Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить, — сказал убежденно Новиков. — Невеста есть у вас? Ждет, наверно...

Степанов насильно улыбнулся, исподлобья застенчиво глядя на Новикова.

— Да женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вышло.

— Терпежу, значит, ниякого, — ехидно вставил Порохонько, по-прежнему прижимаясь подбородком к коленям. — Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники да налатать по вопросительному знаку, щоб знал, яка она, алгебра жизни. С жинкой спать — нехитрое дело. — И с обычной своей независимостью обратился к Новикову: — Правильно чи не правильно, товарищ капитан?

Однако то, что Степанов, парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему, — оказывается, этот парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову.

— Это вы, Степанов, хорошо сделали, — заметил Новиков. — И дети есть?

— Не успели мы, — пробормотал Степанов.

— А это плохо, — сказал Новиков, как будто сам имел семью. — После войны солдата должны ждать дети.

Близкий выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города. Разрыв вырос шагах в тридцати правее орудия. Опадала земля. Осколки, прерывисто фырча, прошли над огневой, увесисто зашлепали за бруствером. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет — пули пронеслись левее орудия.

Все молчали, смотрели на город.

— Здоровая жаба плюхнула, всамделе танки прорвались к окраинам, — произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только чуть подался книзу.

— Товарищ капитан, видели? Где они, фрицы? — встрепенувшись, быстро заговорил Степанов. — Под нос зашли. Не выдержали там, а мы стоим...

Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты как будто ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, мало пехоты или вовсе нет ее.

Новиков знал: могло быть то и другое, но, что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги, и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко:

— Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут, подавят восстание словаков, чтобы воевать потом. Вы поняли? На какой черт тогда положили здесь половину батареей? Да и не только мы!.. Что молчите, Степанов?

— Да что вы, товарищ капитан? Да я же просто...— вдруг забормотал Степанов, опустив лицо, по-прежнему щупая, дергая мясистые щеки.

— Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было, — уже дружески сказал Новиков и чуть-чуть улыбнулся. — Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет — послушаю, секрет — уйду.

— Тоже чушь плел про якусь старушку, — насмешливо-мрачно проговорил Порохонько и лег на брезент. — Лягалов был, тот рассказывал про мирную жизнь. Як писал. А это так — баланда, рвет с нее... Брешет лучше, чем конь бегаёт!

Ремешков помялся, взглянул на Новикова, на Порохонько, помигал белыми ресницами.

— Нет, серьезно, не врал я, честное слово, товарищ капитан, — заговорил он, как бы оправдываясь. — Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Порохонько, рукой не махай, это правда, честное слово. Ну вот, пошла... и упала. А у нас много колодцев высохших в лесу, и змей там всяких полно. Ну, нашли эту старушку соседние колхозники дней через пять всю в змеях — мертвая...

Он замолчал таинственно, вприщур проследил за полетом реактивных мин среди зарева. Он как бы ждал,

что его будут просить рассказывать дальше и подробнее. Но солдаты молчали.

— Змей? — скрипучим баритоном спросил неожиданно Горбачев, завозившись под плащ-палаткой: видимо, проснулся только что.

Ремешков кивнул в сторону ящиков, сниженным голосом подтвердил:

— Ну да, гадюки и всякие там...

— Ни одна бы не ушла! — заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крикнул.

— Как это так? Кто? — не понял Ремешков.

— Всех бы передушил! — сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках. — Нашел чем пугать.

— Так же змей много. Ну, уж брось ты!

— А-а! Чепуха гороховая! Всех бы передавил! Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет?

— О себе не думал, — ответил Ремешков обиженно.

— Это кто ж тебя так учил? В каких школах?

Горбачев не откинул плащ-палатки, не встал, только, крякая сонно, нажимом ног немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал спокойно и ровно — так мог спать лишь физически крепкий, здоровый человек.

— Странная история, — сказал Новиков без улыбки; он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать его. — Очень странная, но довольно интересная. — И, вставая, добавил: — Будет связь — вызвать. Я — ко второму орудью.

Справа ударил танк по высоте.

Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудью Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев — и судьба города будет решена: его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и затихла перед высотой. Все, что видел Новиков в котловине, когда шли к орудиям Овчинникова, убеждало: немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Но медлительность их

была загадочна, непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была бóльшая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат.

Второе орудие стояло на правом краю высоты.

— Стой! Кто топает?

— Капитан Новиков.

Человеческий силуэт в плащ-палатке возник возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил удивленно:

— Кто это — Алешин? Что за новости? Ты часовой?

— Я, товарищ капитан, — шепотом ответил Алешин. — Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.

Новиков невольно улыбнулся.

— Сегодня, Витя, сами солдаты решают — спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.

— Слушаюсь, — охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил оживленно: — Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..

Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, погухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зарева Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами — резких весенних веснушек не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мягкими галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной ощутимости точно приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.

Алешин произнес с горячей досадой:

— Только ракеты кидают, надоело ждать! Даю сло-

во, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?

— Верю, верю...

Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину шевельнулось в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.

— Вот что, Витя, шоколад я твой передал, — сказал Новиков. — Тебе — спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.

— Да? Мне спасибо? От Лены? — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и потер лоб, обрадованно засмеялся. — Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!

— Да. Но завтра я все же отправляю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.

Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла. Тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.

— Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и... все, — захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову. — Уедет она — и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом... или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть — это ерунда, конечно. Это так, со зла, вы тогда не разговаривали с ней!

— Поставь часового и иди в землянку, — неожиданно строго сказал Новиков, подымаясь, заученным движением поправляя кобуру. — Часовые пусть меняются через два часа.

— Слушаюсь, все ясно, — опадающим голосом ответил Алешин.

И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И внезапно, чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в нем, Новикове, то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось против его воли, — просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.

«Он подражает мне, как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера, — подумал Новиков почти с нежностью. — Но он не знает, что мы с ним едва ли не одноклассники. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после войны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: «Не может быть». А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».

— Спокойной ночи, Витя, — сказал Новиков и, против обыкновения, крепко пожал руку Алешина. — Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет — посмотрим.

— Черт с ним, товарищ капитан! — ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку. — Оборона хуже всего! Леночке привет!

Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали, молча лежали на брезенте между станин и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались от города, освещали всю высоту, лица, оружие, снарядные ящики. В тылу рокотал бой, сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись среди зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали мертво. И каза-

лось, высота тесно сжата — сзади заревом, спереди — выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.

— Пойду отдохну, — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову: — Изменится что-нибудь — разбудите.

— Слушаюсь, — поспешно ответил Ремешков и сморгнул, приподнимаясь. — Да разве тут заснешь?

Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял возле входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:

— Лена, ты спишь?

— Я жду тебя... Иди сюда. Что там, наверху?

Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ему, как в теплый, качающий его ветерок.

— Окружение, да? Только лампу не зажигай...

— Лена, тебе находиться здесь нельзя, — сказал Новиков. — Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Остаться здесь нет смысла.

— Ну вот, по голосу чувствую — нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.

— Но мне — наоборот.

— Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть... Сними шинель, ты ведь устал, так будет лучше. Когда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.

Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерз-

кая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней и, может быть, давно, — не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платицем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий вокруг фонарей...

Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки — четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее, детское, это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему, дороже и взрослее — он испытал это впервые.

— Никогда я... такого не чувствовал, как к тебе, — сказал он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. — Ты веришь?.. Никогда!..

Он обнял ее. Она не поднялась, молча руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой теплоту ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы испступленно ласкали его волосы на затылке, родственно, преданно гладили его шею, скользили по плечам...

— Ты не жалея меня, не жалея... Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..

— Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь... Что бы ни было — ты мой!..

Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакивающий шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен, тающ, беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по лбу, по волосам Новикова, была

сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые испытал он,—это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной, он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении, в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.

В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал, — он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:

— Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.

— Жена... — повторила Лена медленно. — Как это ты хорошо сказал: жена... — Помолчала и договорила со злой горечью: — Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.

— Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.

Лена молчала, уткнувшись лицом ему в подмышку, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодого тела; так пахло от него тогда, в блиндаже—терпкий, знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала, не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не признал, не принял. Тогда он сказал отрывистым от возбуждения голосом:

— Ты молчишь, Ленка? А мне все ясно.

— Все может измениться, пойми меня! — ответила она серьезно и страстно. — Все... Слишком хорошо с тобой и беспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо —

начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?

Он не выдержал, обнял ее.

— Ты действительно чепуху говоришь, Ленка, — сказал Новиков спокойно. — Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.

Она молчала, глядя его шею, его грудь.

— Обними меня крепче. Очень крепко, — неожиданно попросила она шепотом. — Чтоб больно было...

Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, осязаемый знакомой тяжестью пистолета, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.

Сдавленный голос — не то Ремешкова, не то Степанова — толкнулся в дверь блиндажа:

— Товарищ капитан!.. Немцы!

И, услышав это «немцы», он, как бы мгновенно охлажденный, понял все.

Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:

— Ну вот, началось! Пошел!..

И вышел из блиндажа, застегивая шинель.

Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба, — ничто детально и точно не было сразу замечено и выделено сознанием Новикова. Все это даже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.

Вся мрачно теневая, темная еще, покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, густо шевелилась, оскаливаясь огнем, — черные тела танков, медленно переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблескивающего озера, мимо бывших пози-

ций Овчинникова, и, через минное поле, — в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть в первое мгновение Новиков, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.

Ночь, еще непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Только по чугунному гулу, по внезапно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по железному скрежету будто гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго шевелящейся, дрожащей от напряжения стальной пружины Новиков точно и безошибочно определил это новое направление на высоту.

Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как ответ их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла высоты стреляли по орудиям прорвавшиеся из Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».

Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, будто жадно, хищно пожирая их, смело вползали в район минного поля перед высотой, — теперь стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.

— Что стоите, Степанов? К орудию! Бегом! — командовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов.

Стоял он рядом в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдавить из себя что-то; слов Новиков не разобрал.

— Бегом!

«Что это с ним? Спокойный ведь был парень! Нервы сдали, что ли?» — подумал Новиков досадливо и удивленно, видя, как побежал к орудию толстоватый в поясице Степанов, как при взрывах нырял он большой головой, так что уши врезались в воротник шинели.

Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко

и нежно. И этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.

На огневой позиции, возбужденно торопясь возле орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злые губы, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У быстро повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения. Взгляд его коротко скользнул навстречу Новикову — будто он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Сразу стало горячо Новикову от этого взгляда. И, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:

— По места-ам! Заряжа-ай!

Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритых скулах, на подбородке, а в полуоткрытых губах выражение слепой торопливости. Скользящий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, будто земля жгла его.

«С этим парнем кончено, — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. — Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жесткость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.

— Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!.. — не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, неуверенно, боком пятясь к панораме.

Досиня бледный, весь огузший, потеряв прежнюю деловитость в движениях, был он будто смят чем-то, подавлен, разбит. Неприятно отталкивали Новикова его опустошенно-светлые дергающиеся глаза — в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял. Это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникло у некоторых солдат в конце войны.

— Вы что раскисли? — Новиков взял за плечи Степанова, повернул к себе. — Возьмите себя в руки! Выбросьте блажь из головы! Забудьте чушь в голову — убьет первым же снарядом! К панораме!

И уже с решимостью, с силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.

Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-поспешно к маховикам механизмов, а они будто ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напряжилась, по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в Степанове напряжение, неточно рыскающие сдвиги прицела.

— Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? — выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.

Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край ее продвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова — в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе, — было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через нее, двигаясь фланговым обходом на город.

Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.

Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различимые квадраты танков еще не вели массированный огонь, — стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели. И это тоже казалось необычным Новикову.

— К телефону Алешина! Быстро! — приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик, — белое лицо связиста задвигалось у аппарата.

«Если бы были орудия Овчинникова, если бы... — подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая Овчинникову. — Там, у озера, свободный, не прикрытый ничем проход...»

— Алешин, ты? — Он сжал трубку. — Алешин...

Ответа не услышал — тотчас ворвались в уши звуки артиллерийской стрельбы: выстрелы — разрывы, разрывы — выстрелы. Быстро поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуправляемой частотой сплетались там багровые выплески, — открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и внезапная радость оттого, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей и удивившей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:

— Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалея! Все!

И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:

— Внимание!.. Наводить по левым танкам... по головному!

Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Новиков видел это без бинокля.

Левая оконечность дуги вдруг закруглилась — три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, тяжело катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, грузно вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, дав остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:

— По левому... огонь!

Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (только заметил: как будто иззябшими руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков потрянул как-то

сразу заболевшей головой, встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачуще сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой, — непрерывно били танки.

А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым, вставший над ней, будто сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита — ничего не увидел, кроме этой, клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядов.

— Степанов! — позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.

Когда подбежал он к орудью, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудью между станинами со снарядом, одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях возле щита, а его тормозил, дергал за хлястик, кричал что-то весь закопченный дымом Порохонько.

— Что? Почему прекратили огонь? — крикнул Новиков. — Степанов!..

Но никто не ответил. Он наклонился и, еще не веря, увидел, что Степанов стоял на коленях, обессиленно ткнувшись лбом в щит орудия, съезженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползло из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что произошло. Воронки зияли слева и чуть позади Степанова — следы снарядов на бруствере, убивших его.

— Отнесите в нишу, похороним потом, — сказал Новиков, почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в последние его часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он. Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту, — видимо, контузило его в ровике.

— Отнесите в нишу, похороним потом, — повторил

Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот: — По места-ам!..

И сразу будто ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы — резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.

Он увидел в панораме уже как бы разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки, с ходу ведя огонь, сползались от центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали уже позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, скатывались в котловину.

— А-а, — только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его била внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто отделилось от сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все будто исчезло: на перекрестке прицела в упор надвинулся широкий, поднимающийся из котловины покатый лоб танка, качнулся; дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия — с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его снова, выстрелил и уже не смотрел, куда впилась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула там по широкой груди танка.

— Товарищ капитан! Быстрей! Быстрей!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрей!..

«Чей это голос, Ремешкова? Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее...»

Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать? Нет, только девять... Но дуга все распрямлялась — где следы выстрелов? Танки идут... Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал этот неестественный голос Ремешкова:

— Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы — шесть!.. — И крик этот точно скосило: — Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..

Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов Новиков услышал его над самой головой, увидел: наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колющее пламя пулеметных очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звоном истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкав в утреннем небе, и оттуда косо понеслись, стали падать на высоту, вытянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок — разрывы бомб встали вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, не почувствовал большой опасности, не лег, лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:

— Товарищ капитан, ложитесь... ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас... Пропадем без вас, товарищ капитан...

Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной, как дуновение ветра, как неточные удары бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей падали в дыму над высотой на орудия.

Непрерывный писк, как будто пробившийся сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за спиной. Кажется, зуммерил телефон.

— Аппарат! — крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и сейчас же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:

— Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!

— Где прошли? Где?

Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и внезапно увидел справа и впереди перед высотой,

там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали отсюда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.

В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.

— Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!.. — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов. — Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!

И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно поняв, очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад, к траншеям боевого охранения.

— Товарищ капитан! Да что вы? Ложитесь! — снова возник за спиной умоляющий крик Ремешкова. — Пикируют!

Новикова резко дернули за рукав гимнастерки. Ремешков, весь засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел рядом, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошлись по огневой, запылили, будто задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними — и хвост истребителя стал взмывать над высотой, врезаясь в небо.

— Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? — повторял поспешно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. — Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..

Будто не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как снова, мимо занявшихся дымом машин, медленно вползали в котловину танки, — вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали продвижение танков. Странно, напряженно дрожали брови Новикова. И Ремешков, который не видел эти танки, не мог

знать, что чувствовал Новиков, придвинулся ближе к нему, поднял молодое обескровленное лицо, спросил:

— Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?

— К орудию! — сквозь зубы подал команду Новиков. — Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! — И, садясь к прицелу, обернулся: — Порохонько, жив?

Порохонько лежал на спине среди станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей, крепкими зубами покусывая соломинку, смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.

— Огонь! — скомандовал Новиков.

Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, поднялся над полем перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.

Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Нажимая спуск, он чувствовал: горло жгло сухой краской орудия, он заметил — раскаленный ствол покрылся искристой синевой. Но ни о чем не думал, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаюсь прорваться в город, ни одна мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались к озеру.

— Уходят! — возник чей-то крик за спиной, и он смутно понял: случилось что-то в воздухе.

Сверкающий на солнце клубок вьющихся в выси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету, наискось — к земле и в высь утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И лишь по сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекшего из тонкого тела «мессера», стремительно уходившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли.

— Заряжай!

И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины, выстрелил два раза подряд, обессиленно и быстро вытер разъедающий пот с глаз, и в эту минуту снова гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши.

Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровно и туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все:

— ИЛы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два... Гляньте-ка! Вон выровнялись! Миленькие!

Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Порохонько, без пилотки, со спутанными волосами, глядел в небо, прищурясь, шарил рукой по земле, ища соломинку, что ли; запекшийся от гари рот усмехался ядовито и недоверчиво.

Большая партия ИЛов низко шла над Карпатами, на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок.

И тотчас над пехотными траншеями, предупреждая сигналя, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.

«Это передышка, вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет! — подумал Новиков, видя, как первый штурмовик клюнул в воздухе, стал пикировать над немецкими танками. — Лена в десяти шагах отсюда, Лена... Я успею снести ее в тихое место, в особняк, Что она там, ждет меня? Я не имею права забывать о ней... Нет, я не забывал о ней...»

— Останьтесь за меня, — хрипло крикнул он Порохонько. — Я сейчас вернусь.

Он шел к блиндажу по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он почти не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не существовало, — все было изрыто танковыми снарядами, зияло частыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, как будто огромные лопаты, железные метлы прошлись по ним.

Он распахнул дверь в блиндаж и вошел.

Он вошел разгоряченный, весь черный, потный, остановился на пороге в раскрытых дверях, не мог ничего сказать, — удушье сжимало его горло.

Лена сидела на нарах одетая, даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе, свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать, смотрела на эту ногу, наклонив голову. Светлые волосы заслоняли щеку.

— Лена... Я пришел за тобой, — глухо и хрипло сказал он и шагнул к ней. — Лена, тебе пора...

Не вздрогнула она, ничего не спросила, только подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом:

— Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат — куда лучше и быстрее. Подожди. Ты потный весь. Жарко было?

Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера легонько царапнула пуля. А он стоял возле, чувствуя эти легкие, родственные прикосновения, ее близость, ничего не мог ответить: боялся — слова останутся, застрянут в горле. И знал: голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой от команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя — он не смог бы объяснить этим голосом все, что испытывал к ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груде смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты.

Они оба молчали, близко слыша нарастающие звуки бомбежки, накаленные очереди пулеметов за высотой; штурмовики, боком выворачивая на солнце плоскости, повторно заходя на круг, низко пронеслись над парком, наполняя его, сотрясая гулом усыпанные листьями аллеи.

Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия: там остава-

лись солдаты, мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно-понимающие взгляды, услышал голос Ремешкова: «Выздоровливайте, сестренка, мы вас очень уважали», — и Порохонько добавил: «Живы будем — побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, даже Порохонько. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, которых он любил. Он часто не признавал ничего нарочито ласкового, — был слишком молод и слишком много видел недоброго на войне, человеческих страданий, отпущенных судьбой его поколению. Он никогда не задумывался, любили ли его солдаты и за что. И порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни — чистая доброта, любовь, солнце, — он оставлял на после войны, на будущее, которое должно было быть. И то, что сейчас он не в силах был найти другого выхода, то есть не отправить Лену в медсанбат, не потерять ее, как бы случайно найденную, казалось ему жестокостью, которой не было оправдания. Он знал, что у нее не тяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать Лену даже на несколько часов возле орудий, — неизвестно было, чем кончится этот бой.

— Я найду тебя, — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. — Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.

— Нет, — сказала Лена и улыбнулась грустно, повернулась к нему, волосы скользнули по щеке. — Нет, ты меня не найдешь, Дима.

— Я найду тебя... И я люблю тебя. Я поздно это понял...

Она подняла глаза с сухим блеском, пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и, вдруг опустив лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. Но тотчас она подняла голову, сдерживая рыдания, сотрясавшие ее плечи, сказала тихо:

— У тебя еще много будет женщин...

— Но ты уже есть! Какие женщины, когда есть ты?—

заговорил он, сильно обнимая ее, прощально и горько целуя ее слабо отвечающий рот. — Мне пора. Ты слышишь? — И легонько потряс ее за плечи. — Прощай! Мне пора. Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...

Новиков встал. Она смотрела на него как бы сквозь невидящими глазами, молчала, кусая губы. И он не мог уйти сразу. Ее шея, окаймленная воротом гимнастерки, волосы, погоны на узких плечах, край щеки — все было беспокойно-розовым в свете сочившейся в парк зари. И все, что было рядом и позади ее беспомощно сжатой фигуры, стояло в полном и тревожном наливе зябкого утра осени. И показалось на миг, будто на этом кусочке земли не было войны, а была просто осень и розовый холодный воздух без выстрелов, без гудения танков за высотой.

В мокрых коридорах аллей столетних лип уже лежали красные полосы, отсвечивали влажные кучи листьев, золотом горели уцелевшие стекла в особняке, а перед террасой, над безмятежной утренней гладью бассейна поднимался зыбкий пар. Здесь были покой, осенняя сырость, запах обмытых росой листьев, холодная и чистая крепость зари, — все говорило о мире вечном, естественном.

— Лена, я пойду, Лена, я пойду, — глухо повторял Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом сразу отделившемся от него мире.

— Сейчас, — окрепшим голосом проговорила Лена. — Вот сейчас. У тебя рукав порванный... Сейчас... Что это, осколком, пулей? Не видел? Дай, я зашью. Сними... Это одна минута. Я быстро... — И внезапно испуганно вскинула глаза, посмотрела на высоту. — Это за тобой. За тобой... Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью... Дима... Я зашью...

Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик; дым оползал по скату, застилая орудия.

— Это за мной!

Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно лишь помнил, что не мог сказать ничего, еще раз

прощально поцеловать ее — этого невозможно было сейчас сделать.

Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, — и не мог.

Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. Когда Новиков, задыхаясь, вбежал по скату, он увидел его и не узнал. Весь потный, закопченный, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза, в грязной и прожженной на полах шинели, он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором:

— Прицел разбито! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались... Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела? Товарищ капитан!.. Как назло, разбито... Ну, что делать?.. Бросился за прицелами Овчинникова, а их раскокошило!

И, перекосив по-мальчишески лицо, затряс головой, скрипнув зубами, едва не зарыдал от бессилия; и, резко мазнув рукавом шинели по глазам, стоял, покачиваясь на тонких ногах, обтянутых хромовыми сапожками.

— Через ствол, Витя! Наводи через ствол! Без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. — Давай, Витя, милый!..

Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть.

Он прыжком перескочил через бруствер, сразу в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленах между станин длинная фигура Порохонько со снарядом в руках, мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Стреляя, он крутил головой, вздрагивала спина, колыхалась пилотка, сползшая на шею, и не то плакал он в голос от злости, не то смеялся:

— Не-ет!.. Не-ет!..

Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располосованной трассами снарядов. Впереди несколько тяжелых танков сгрудились на краю котловины; застигнутые бомбежкой, — видимо, уже

подожженные, — они столкнулись вслепую, сцепившись гусеницами, и так пылали. Дуга распалась, ее не было, были смерчи пожаров, скопища мазутного дыма, только справа несколько танков шли толчками, обтекая высоту; слева же в котловину скатывались тупорылые пятнистые бронетранспортеры, фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не ложась, расплескивая струи автоматных очередей. Нет, они хотели жить, эти немцы, что сидели и стреляли в бронетранспортерах и танках, и те, что бежали по полю, хотели убить тех, кто сдерживал их, перешагнуть, хотели любой ценой прорваться в город, миновать невозможное, что не должно было случиться, и Новиков почему-то подумал, что это невозможное было он, Новиков, и его люди на высоте.

— Не-ет! Не-ет! Не-ет!

...По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, по кустам разрывов, вырвавшихся возле позиций Новикова, по наискось в небе летящим пулям Лена сразу поняла, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть только прочность земли.

«Дима, Дима, Дима... Что он там? Что с ним? Его не убьют... таких нельзя убивать... его не убьют. Я знаю. Он умеет стрелять, как не умеют другие... Что же это там? Опять?»

Иголка прыгала в ее пальцах, она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно пристально смотрела туда, на высоту, жадно искала орудие, тонувшее во мгле, в фонтанах земли: что-то белое то появлялось, то падало там. Или это только казалось ей?

«Это он, он возле орудия. Он... Я вижу его... Скорей, скорей, пусть скорей конец боя... Только скорее конец боя. Это же должно кончиться... Должно кончиться... Скорее, скорее!»

Черное, огромное и тяжелое с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загорюдив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро, разнесенный утренним ветром, и, дрожа от

мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.

«Что это! Что это?»—удивленно мелькнуло в сознании Лены. В ту минуту она еще не могла определить все, почувствовать, она не только не могла осознать, что это мог быть он ранен или убит, а, наоборот, подумала, что это был не он.

Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воюющие, нарастая, распространились слева, со стороны города, над вершинами лип, оглушая ревом, сверкнули раскаленные хвосты, широкими молниями ударили, впились в высоту, закрутились раскаленные змейки на всем протяжении ее, и снова дым загородил небо и то белое, на бруствере.

«Что это? Наши? «Катюши»? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Что они делают? Стреляют по нему! Сюда не прошли танки. Он жив! Он жив! А как же я? Одна? Нет, он не погиб... А как же я?»

Дым снова разодрало ветром, что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван, незащит рукав, она вдруг поняла все. И, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.

Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень, с нежарким блеском солнца на каменных мостовых, потертых гусеницами танков, усыпанных битым стеклом, пустыми снарядами гильзами; за железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на КП в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали возле телефонов связисты, — все говорило о жизни будничной, а младшему лейтенанту Алешину хотелось плакать.

Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели,

стоял перед Гулько, худой, осунувшийся, бледный, — резко проступали весенние веснушки на носу — и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. И вытирал рукавом щеки. И странно было видеть его чистый подворотничок, веснушки и слышать будто постаревший на десять лет голос, видеть и слезы, и этот мальчишеский жест, которым он вытирал их.

— Капитан Новиков? Новиков!.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! — почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными, полными слез глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух, майор сглотнул, потер горло, пробормотал глухо: — Идите и принимайте батарею. Идите... Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите — в Марице!

Младший лейтенант Алешин вышел и двинулся по городу к медсанбату. На углу его ждал Горбачев.

Стояла властная тишина в городе. И «катюши» в чехлах под уцелевшими домами, и санитарные машины, замаскированные под кленами улиц, спокойно залитых солнцем, и кухня, дымившая в соседнем дворе, и голоса солдат возле нее — все по-прежнему говорило о жизни будничной. Но младшему лейтенанту Алешину никогда не было так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.

В медсанбат Лену привезли ездовые. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками, носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, тоненькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели, ровные брови, страдальчески сдвинутые, оттеняли белизну лба, иногда они вздрагивали, будто по лицу проходили отблески того, что было в ней. Она смутно услышала голос Алешина — чем-то близким, знакомым повеяло на нее, — открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой — одними пальцами.

— Леночка... прощай... Леночка, мы тебя не забудем... Леночка, прощай...

Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев,

лежала тихо, в тяжелом забытьи, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней.

До нее слабо доносились звуки из внешнего мира: шаги в саду, шорох шинелей, мимо тенями проходили санитары, перешагивая через нее, шелестела трава, сухие листья, слетая с яблони, невесомо падали на грудь ее, путались в волосах, и кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом.

«Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?» — думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали, и, кусая губы, вся сжимаясь, она старалась найти в своей памяти то, что было до его смерти, — его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку.

Раз открыла глаза. Голые ветви яблони уходили в низкое, кипевшее облаками небо, там выгнутыми фиолетовыми полосами стоял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь, под холодным осенним солнцем. «Откуда этот свет? И зачем он? — подумала она. — Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет... Зачем все это?..»

— Ишь ты, солнце разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире — не поверишь! — донесся до нее крутой прокуренный голос, и будто жестоким толчком вытолкнуло ее из полузабытья, краем сознания поняла, о чем так красиво говорил этот неизвестный, точно окрашенный в серый цвет голос, и, повернув голову, почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате, с темными пятнами на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он медленно, утомленно курил, глядя в небо над садом.

Лена отвернулась, как бы защищаясь, прикинула щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди, капельки пота выступили над верхней губой, покрытой детским пушком, чех шептал, точно торопясь куда-то, непонятные, отрывистые слова, и она с трудом разобрала:

— Воду... Воду...

Она нащупала фляжку, приподнялась, долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами, а когда, сдерживая рыдания, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала:

— Боль пройдет, боль пройдет...

И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА

**[«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и «Последние залпы»
Ю. Бондарева]**

Бывает, что книги, положившие начало чему-то новому в литературе, сами со временем отходят в тень, утрачивая право на жизнь в сознании последующих поколений. Они обозначают рождение этого нового достаточно внятно, и поэтому историки литературы согласно ведут летосчисление начатой ими традиции именно с них. Но при всей внятности своего нового звучания они— все-таки лишь первая, достаточно еще робкая проба голоса, скорее намек на новые художественные возможности, чем их осуществление. И век их недолог, они быстро теряют в живом внимании к ним читателя, если и вообще не умирают для него, безнадежно проигрывая от сравнения с книгами последующих лет.

Но бывает и по-другому. Бывает и так, что новая художественная традиция сразу же заявляет о себе произведением, которое остается живым и сохраняет все свое обаяние, как бы значительны ни были позднейшие достижения.

К таким нестареющим явлениям подлинного искусства принадлежит и повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — книга, которая обозначила собою — вместе со сталинградскими очерками В. Гроссмана, «Звездой» Э. Казакевича, «Спутниками» В. Пановой, «Василием Теркиным» А. Твардовского и несколькими другими явлениями нашей прозы и поэзии тех лет — начало целой новой полосы в развитии литературы о войне. Она открыла внушительный список повестей, романов и рассказов о войне, родственная связь которых с повестью В. Некрасова настолько очевидна, что указание на нее звучит уже, пожалуй, в наши дни трюизмом.

Конечно, за двадцать с лишним лет, протекших со времени появления повести, наш взгляд на войну 1941—1945 годов сущест-

венно углубился, приобрел новое качество, и это новое историческое сознание не могло не обогатить позднейшую военную прозу, шедшую вслед за Некрасовым. Иные мотивы и темы, у Некрасова лишь намеченные, развиты в творчестве таких, например, писателей, как Г. Бакланов, Ю. Бондарев, К. Симонов, В. Быков, значительно полнее и многостороннее.

Но все это не только не отменило повести В. Некрасова, но и до сих пор она для нас — одна из лучших современных книг о войне, а ее непосредственное воздействие, ее живое звучание столь же очевидны и безусловны сейчас, как и раньше. И даже, пожалуй, гораздо очевиднее: как это тоже нередко бывает, выдающиеся художественные достоинства повести, незаурядное значение того нового слова о войне, которое она высказала, были при первом появлении повести как раз вовсе не такой уж очевидностью для всех.

Действительно, листая старые журналы, мы можем обнаружить немало образчиков удивительно косной, кажущейся в наше время просто поразительной слепоты и предубежденности: «Произведение, которому больше всего недостает идейности»; «Содержание вещи не совпадает с самым главным и существенным, с нашей Отечественной войной»; «Реализм на подножном корму»... А один из наиболее яростных критиков молодого писателя выражался, например, по поводу повести так: «...война показана в романе с точки зрения того участника ближнего боя, который словно бы ничего не подозревает о ходе войны в целом, да и не думает о нем»; «в романе не выражены достаточно глубоко и полно те мысли и чувства, которые вдохновляли наших воинов на величайшие подвиги»; «характерно, что с точки зрения автора не поддается объяснению — почему в ходе Отечественной войны происходит крутой перелом... Сначала наши войска отступали, потом перешли в наступление, разбили врага, а как это произошло, почему, какие способности проявил наш народ на войне... — этого в романе не видно».

И такое писалось о книге, которая вся — от первой до последней строки — именно и показывала, «как это произошло», которая вся — от первой до последней строки — дышала болью и тревогой

тех лет, с поражающей доподлинностью передавая нравственную атмосферу этого грозного времени!

Окопная правда, реализм на подножном корму...

Читатель, умеющий чувствовать искусство, заметит, насколько разнятся — уже по самой своей внутренней тональности — те две части, из которых состоит повесть В. Некрасова.

В первой части, где рассказывается о днях отступления, героям повести только два раза, собственно, приходится воевать, встречаясь с врагом лицом к лицу, — в начале повести, в сцене боя у сараев, и в конце части, в первом сталинградском бою Керженцева. Зато куда больше здесь часов и дней относительно спокойной, относительно безопасной жизни — жизни, наполненной походным бытом, разговорами, воспоминаниями, не слишком опасной работой на Тракторном, не говоря уже о почти мирной идиллии первых дней в Сталинграде, где и беспробудный сон на настоящих кроватях, застеленных чистыми простынями, и чай с домашним вареньем в уютной гостиной, и ленивое купанье в Волге, и прогулка Керженцева с Люсей по Мамаеву кургану...

Но удивительное дело — как раз в этой части повести душевное состояние рассказчика пронизано чувством хмурым, даже тоскливым, каким-то глубоким внутренним беспокойством и неудовлетворенностью, которые не дают забыться душой даже в те минуты отдыха, когда жизнь дарит такой возможностью.

И напротив, как раз вторая часть, где на каждом шагу кровь и смерть, предельное, до сжатых зубов натяжение последних сил, звучит много отраднее и светлее. Во всем различимо обозначаются черты наступившего вслед за прежней угнетенностью душевного успокоения и даже как бы некой внутренней удовлетворенности тем, что происходит с героем и вокруг него, — хотя, казалось бы, какое уж тут успокоение и удовлетворенность, когда каждую минуту грозит смерть, когда каждый день, с утра до темноты, по четырнадцать полновесных часов, либо остервенелые атаки немцев, либо жестокая, выкручивающая нервы бомбежка: «Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят...»

Отчего это так? Почему так явственно не совпадает непосредственный фон повести с внутренним состоянием ее героя?

Да вот именно потому, что как ни громадна власть над живой человеческой душой ощущений и впечатлений непосредственной повседневности, тем более таких, которые обрушивает на Керженцева его сталинградская судьба, все же не на них замыкается то, чем живет его сердце и что движет его ум, и даже его внутренняя душевная настроенность определяется, в конечном счете, не ими.

Вспомним, как в начале книги, описывая дни отступления, Керженцев рассказывает об одной из тех минут, что так часто приходилось переживать в эти горькие дни и ему, и его спутникам.

«Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погребя, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...»

Эта гложущая мысль о судьбе страны, о родных землях, отданных и все еще отдаваемых на поруганье врагу, это гнетущее сознание и своей собственной ответственности за трагедию, которая разыгрывается не только на твоих глазах, но и не без твоего участия, и есть то, что лежит постоянной и нестерпимой тяжестью на сердце у Керженцева, подавляя и подчиняя себе все остальные чувства и мысли.

Вот другая, совсем другая, кажется, минута — и нет этих вопрошающих глаз, и ничто, кажется, не вызывает тягостного, жгучего чувства стыда и бессилия. Керженцев смотрит на Игоря и вспоминает карточку, которую тот как-то ему показывал: шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным, по моде, узлом, брючки-чарли... И вдруг — та же боль, то же внезапное и властное: «Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертная пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли»...

И снова, и снова:

«Обороны на Осколе больше не существует... Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...»

«Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас...»

Конечно, немцы за Доном — это еще не значит, что война проиграна, и Керженцеву не нужно объяснять это. Но одно дело — понимание, вера в конечную победу, и другое — та нынешняя реальность, которая не становится менее горькой и нестерпимой от того, что веришь в отмщение. «Что я на это отвечу? — думает Керженцев, вспоминая недоумевающие глаза женщин, остающихся с немцами. — Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше танков и самолетов, чем у нас?.. А мы хотя и вынуждены отступить, но отступление — еще не поражение... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток...»

Вот почему, пока это так, и не проходит это «собачье настроение», не отступают эти тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли. Вот почему, чем дальше от войны, от врага, чем более мирная и спокойная обстановка вокруг Керженцева, тем вернее настигает его эта «нудная тоска»: «Сколько раз на фронте я мечтал о таких мнутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола, — нет, позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье...»

И вот почему, наконец, так явственно меняется и настроение Керженцева, и сама интонация его рассказа во второй части повести, когда в сознании исполненного и исполняемого воинского долга Керженцев обретает наконец ту внутреннюю точку опоры, которая дает чувство душевной собранности, устойчивости и даже удовлетворенности, — каких бы нечеловеческих сил ни требовало исполнение воинского долга в бушующем пекле сталинградского ада.

В этом внутреннем движении повести, в этом явственном изменении ее тональности, отражающем перемену в душевном состоянии ее героя, — ключ к одной из главных мыслей повести.

Конечно, мысль эта, как и вообще вся совокупность мыслей и чувств, образующих внутреннее содержание повести, не подана в готовом, так сказать, для употребления виде. Ее не вылуцишь из повествования, как таблетку из облатки или ядро ореха из скорлупы. Потому что это искусство, а не дважды два четыре.

К этому нужно прибавить, что и по некоторым особенностям своей повествовательной манеры, явственно сказавшимся уже в «В окопах Сталинграда», В. Некрасов принадлежит к писателям, которые менее всего могут удовлетворить требованиям вкуса, привыкшего видеть в литературе назидательное чтение. Он не только не проявляет ни малейшей склонности к риторике, столь модной в былые времена, но и вообще стремится всячески избегать какой-либо подчеркнутости, «выговаривания» того, о чем хочет сказать. В. Некрасов рассказывает о своих героях, о событиях и положениях просто, без малейшего нажима, в той доверительной интонации обращения к современнику, которая проистекает из уверенности, что читатель, живший теми же тревогами, дышавший воздухом тех же лет, что и автор и его герои, не нуждается в подсказках, чтобы почувствовать все настоящее значение того, что проходит перед его глазами на страницах книги. Он знает, что для этого нужно только говорить с читателем предельно искренне и честно, рассказывая ему о виденном и пережитом правдиво, просто, без ухищрений — так, чтобы он поверил в доподлинность предложенной ему картины жизни, принял ее, как принимают документальное свидетельство о действительно бывшем.

Да и сами герои В. Некрасова — те, кого он любит и о ком больше всего и прежде всего рассказывает, — вовсе не отличаются пристрастием к красноречию, тем более — к итоговым формулам. Они живут, действуют, говорят, спорят, как обычные, живые, натуральные люди, не испорченные страстью к словоговорению и патетике, и ни в малейшей степени не испытывают потребности принять на себя роль рупора авторских идей.

Но тем полнее, глубже и неотвратимее забирает нас та высокая

и важная правда о войне, которую несет в себе этот внешне бесхитростный рассказ, эта почти дневниковая непритязательная запись подневных впечатлений простого армейского офицера — «запись», в которой чувствуешь руку истинного, глубокого художника.

В самом деле, отчего так важно В. Некрасову проследить за своим героем, начиная с дней отступления с Оскола? Зачем так пристально вглядывается он в его разбереженную душу, зачем вообще рассказывает об этих безотрадных днях отступления, если потом все изменилось, и если, тем более, и сама главная тема повести, как это явствует уже из названия, — дни героической обороны Сталинграда, где, кстати, и сам герой повести предстает перед нами уже как бы совсем в ином душевном измерении?

Но раздумья, настроения Керженцева, отразившие собой общую нравственную атмосферу тех дней, именно потому и приковывают к себе внимание В. Некрасова, что в их движении проступает для него нечто еще более глубокое и важное — тот подспудный, скрытый, но чрезвычайно важный душевный процесс, показательный опять-таки не для одного лишь Керженцева, но принявший подлинно общенародный характер, не поняв и не показав которого, нельзя было сказать и настоящую правду о Сталинграде.

Вспомним те несколько страничек повести, где Керженцев рассказывает о своих встречах с Георгием Акимычем, инженером с Тракторного, о его жестоких, трезвых расчетах, о его горьком скептицизме. Что может он противопоставить этим прогнозам, чем их опровергнуть? Увы, он тоже понимает, что положение страны тяжелейшее, круче некуда, что война — это война, что у немцев больше самолетов и танков, а время не ждет, и надеяться, что за ближайшие месяцы соотношение изменится, не приходится.

И все-таки, вспомним, в споре с Георгием Акимовичем он — на стороне Игоря. Игоря, который тоже ничего вразумительного не может возразить Георгию Акимовичу, долго сидит и молчит, но потом упрямо говорит: «Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут...»

«Не может быть... — повторяет Керженцев, возвращаясь в мыслях к этому разговору. — Это все, что пока мы можем сказать».

Ему вспоминаются слова Георгия Акимовича: «Мы будем во-

евать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками».

«Чудо?... И Керженцеву вспоминается другое — случайно подслушанный разговор, маленькая, незначительная как будто бы подробность, но из тех, что запоминаются на всю жизнь, — «въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом». Он вспоминает, как недавно ночью шли по дороге солдаты и вполголоса пели тихую, немного грустную песню про Днипро и журавлей. А потом присели отдохнуть на обочине, и чей-то молодой, негромкий голос донесся из темноты:

«— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет — с головой закроет...»

И в песне той, в этих простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, закрывающих тебя с головой, было что-то... «я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами»...

Что это — слабодушие, отчаянное стремление человека отыскать хоть какую-то точку опоры для своей надежды и веры, когда страшно посмотреть правде в глаза?

Критики, изничтожавшие в свое время Некрасова и его героя за ограниченность кругозора, за «неспособность и неумение понять «стратегический ход войны», за «идейную незрелость», проявившуюся, в частности, в этой апелляции к «идеалистическим построениям» Л. Толстого, рассуждали, в сущности, именно по такой логике.

Но для Керженцева, который не заботился о том, как он будет выглядеть в глазах своих будущих прокуроров и которого сама жизнь жестоко учила смотреть на нее открытыми глазами, слова

Толстого вовсе не были отвлеченной абстракцией, той призрачной последней соломинкой, за которую хватаются ради самоутешения и самообольщения. Простые слова о земле и хлебе, тихая песня про Днипро и журавлей потому и стали для него как бы символом, вобравшим в себя «всю суть происходящего», что в них явственно прозвучало то, что и на самом деле составляло самую суть происходящего и что неотвратимо и властно росло в душе самого Керженцева. Это была реальность столь же несомненная и осязаемая, как самолеты и танки, — реальность, которую в свое время, обращаясь к далекой поре двенадцатого года, сумел почувствовать, понять и выразить так удивительно просто и проникновенно Л. Толстой и которая сейчас, в иную пору, через сто тридцать лет, точно так же все больше обнаруживала себя как последняя и решающая сила, которая могла еще и должна была переломить ход войны.

Но чтобы это произошло и реальность эта стала силой, действительно способной сотворить чудо, более грозной, чем танки и самолеты врага, народ и армия должны были пройти через годину жесточайших испытаний и потрясений, способных вытравить до конца многие иллюзии и благодушные довоенной поры. Нужно было, чтобы эта скрытая теплота патриотизма вытеснила из души все другие упования и раскалила ее добела, чтобы боль и стыд поражений переплавились в ней в то горькое, но бесповоротное, что прозвучало в словах пожилого солдата, услышанных Керженцевым на переправе через Волгу:

«Фрицу многое чего хочется, а нам никак уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...»

Нужно было, чтобы все, что пережили Игорь, Валега, Фарбер, Керженцев, и в них самих стало этим твердым, смертным, последним словом — нет, дальше они не пойдут. Сегодня не пойдут. Не завтра, не тогда, когда у нас, как в это хочется верить, будет наконец столько же и больше самолетов и танков, а сегодня, сейчас. Сейчас, когда против всей чудовищной бронированной мощи немцев у нас по сто—двести человек в дивизии, и узенькая полоска земли по самому краю волжского обрыва, и высотку, что торчит у тебя под носом и поливает тебя огнем отлично расположенных и щедро расставленных немецких пулеметов, нужно брать силами

двадцати человек, а взять — еще вовсе не значит закрепиться...

И они не прошли. Не прошли, потому что пройти им не дали Ширяев и Игорь, Валега и Карнаухов, Керженцев и Чумак.

«Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку...

Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке...

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает мне руку. Я жму ее. Изо всех сил жму...

В этом — огромная, огненной чертой нескончаемых верст отступления пролегла через душу дистанция между нынешним сталинградским солдатом и тем, каким он был не только на Осколе, но даже и у той же Булацеловки, что укором встает в памяти Керженцева после оставления Оскола: «У Булацеловки тоже пришлось покинуть насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас сделать...»

Однако там все-таки заставили, — силой, но заставили. Здесь, в Сталинграде, заставить сделать это не может уже никакая сила.

Об этом, — о том, как это произошло, — и рассказывает повесть В. Некрасова. Именно в этом — внутренний стержень рассказа о пути Керженцева и его друзей к сталинградским окопам, истоки пристальной внимательности В. Некрасова к движениям душевного мира героя. И именно поэтому повесть В. Некрасова, с дневниковой простотой, неприязательностью и искренностью рассказавшая о том, что видел и пережил обыкновенный армейский офицер-«окопник», осталась в истории нашей литературы книгой, которая сказала хотя и не всю, разумеется, но зато, несомненно, самую главную и самую важную правду о той далекой военной поре, когда за всем, что думали, говорили, чувствовали люди, стояло неизбежное ощущение смертной опасности, нависшей над страной. Ибо именно в эту, едва ли не тягчайшую пору военного лихолетья, в душе армии и народа, уязвленной жестокой горечью

поражений, все непреложное и строже утверждалось внутреннее чувство своей собственной решающей ответственности за исход войны, вызревала и вызрела та великая и страшная в своей самозабвенности душевная сила, без которой не было бы перелома в войне и которая и сделала возможным уже в 1942 году «русское чудо» — Сталинград. Именно эта сила стала той глубинной и безотказной основой, на которой только и могло вырасти и показать себя стратегическое и тактическое мастерство ведения войны, смогли осуществиться повернувшие ход войны стратегические замыслы. Именно она и только она сделала возможной и реальной ту грандиозную, поразительную по своим масштабам, напряженности и темпам перестройку тыла страны, которая была жизненно необходима для того, чтобы выстоять и победить; только на нее можно было делать в любой организационной работе, в любых расчетах и планах ту небывалую, в ином случае невозможную ставку, без которой мы не получили бы, однако, необходимого для победы превосходства в техническом вооружении армии.

Вот почему, когда битва за Сталинград была уже выиграна, и смешат, и трогают Керженцева до глубины души «глупые вопросы» Чумака: «Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?..»

«—Лисагор, объясни ему, почему. А я немножко, того, прогуляюсь», — говорит Керженцев полушутливо и выходит наружу, в город, под чистое, прозрачное, высокое небо — ни облачка, ни самолета. В памяти всплывают фразы из только что прочитанной хвастливой речи Гитлера о падении Сталинграда; он окидывает взглядом город — вернее, то, что осталось от города, — вот он, Мамаев курган, и эти проклятые баки на нем, из-за которых было пролито столько крови... А за теми вот развалинами — только стены как решето остались — начинались позиции Родимцева, полоска в двести метров шириной. «Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров...

А Чумак спрашивает, почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это больше всего мне нравится. Может быть, еще Ширяев, Фар-

бер спросят меня — почему? Или тот старичок-пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны?.. Может, он тоже спросит меня — почему?...»

Да, после всего, что сделали и Чумака, и Ширяева, и сам Керженцев, и Фарбер, и этот старичок-пулеметчик, и тысячи других сталинградцев; после всего, что свершилось в их душах, пока они дошли до кромки сталинградского «края земли», чумаковское «почему» не нуждается в ответе. Он — в них самих, в этих простых советских людях, сумевших внять, может быть, даже не сознавая этого в каких-то отчетливых формулах, отрезвляющим жестким урокам войны и принять решающую меру ответственности за судьбы родной земли на свои собственные плечи.

В узких рамках послесловия не скажешь обо всем, что хотелось бы сказать по поводу этой прекрасной книги. Мне по необходимости пришлось сосредоточиться лишь на одной, хотя и очень важной теме повести.

Однако то, чем дорога эта книга читателю и чем оказала она глубокое и сильное воздействие на нашу литературу, отнюдь не обнимается одной только исторической правдой о войне, — как ни важна для нас эта правда уже и сама по себе. Здесь никак нельзя не сказать, хотя бы коротко, и о том, в чем, может быть, главный секрет непосредственного воздействия книги — о самом духовном строе повести, связанном прежде всего с образом ее главного героя и рассказчика.

Образ Керженцева действительно играет в повести огромную, определяющую для ее нравственного звучания роль. Он — центр пересечения всех ее духовных течений, главный исток ее нравственной притягательности.

В облике этого человека все рождает душевный отклик, вызывает доверие. И этот живой, ненатужный человеческий голос, простыми словами рассказывающий нам об увиденном и пережитом; и эта внутренняя демократичность Керженцева, которую даже как-то не вполне ладно назвать этим словом, так часто сопрягаемым лишь с некой внешней манерой поведения, — настолько естественно, незамечаемо живет в нем чувство родственной, почти кровной близости

к тому же Валеге, настолько просто — иначе и невозможно — чувствовать ему себя на равных в дружбе с Чумаком — дружбе, которая так удивляет поначалу Карнаухова: «А мне казалось, не такие нравиться вам должны... Не одного поля вы ягоды, так сказать...»

И однако именно Валега, который и читает по складам, и в делении путается, и спроси его, что такое родина или социализм, ей-богу же, толком не разъяснит — слишком для него это трудно определяемые словами понятия, — или Чумак, грубовато настырный, с блатными замашками, но, как и Валега, верный в беде, бескорыстный в отношениях, — именно эти люди становятся родными Керженцеву. А вот ПНШ-1 Астафьев, бывший доцент истории, самоуверенный и трусоватый службист, любящий поговорить о своих «культурных интересах», вызывает лишь брезгливую иронию и презрение.

И это органическое неприятие всякого ловкачества, трусливой увертливости, перекладывающей тяготы солдатского долга на плечи других, так же показательно для Керженцева и вытекает из того же нравственного источника, что и холодная ненависть к капитану Абросимову, человеку лично вовсе не трусливому, но бездушному, жестокому солдафону, для которого люди — лишь шахматные фигурки в военной игре...

Но что во всем этом особенного? — может спросить читатель.

Действительно, в проявлениях и реакциях Керженцева нет совершенно ничего исключительного, феноменального. Они кажутся и не могут не казаться нашему нравственному чувству естественными — такими, какими они и должны быть у всякого порядочного человека.

Но ведь почему-то именно такая вот нормальность человеческих реакций больше всего нас как раз и привлекает, почему-то именно к ней мы больше всего стремимся, именно ее больше всего ценим. Не потому ли, что она, увы, не так уж часто встречается? И не потому ли она желанна, что доступна только глубокому нравственному здоровью — той, я бы сказал, внутренней интеллигентности, которая есть не что-то кастовое, привитое внешним воспитанием, но органическое, ставшей природой человека владение всей полнотой тех нравственных отношений к миру, которые сделали человека человеком?..

Именно эта духовная культура и составляет внутренний источник всех проявлений и душевных состояний Керженцева. Именно поэтому они всегда и во всем обаятельно нормальны, подкупающе естественны.

И это нельзя не почувствовать, на это невозможно не откликнуться, как нельзя не ощутить присутствие этой человеческой нормальности и в десятках других — мимолетных или сосредоточенных — душевных движений Керженцева.

И в том, как не занят этот человек мыслями и заботами о себе, как невозможно для него даже в таком вот дневниковом, в сущности, рассказе заниматься самим собой, сосредоточивать внимание на своей персоне — черта, обычно не отмечаемая, но действительно характерная для книги, где сам Керженцев как раз по большей части где-то на втором плане.

И в том внутреннем такте, с которым ведет он свой первый откровенный разговор с Фарбером, давая высказаться этому замкнутому человеку, понимая, как нелегко преодолеть ему свою стеснительность, непривычку к душевной открытости. И даже в той израненной и перевязанной санинструктором кошке, что забирается в ящик к своим котяткам и о которой он тоже не может не рассказать, хотя, казалось бы, видел столько крови и страданий, что уж о кошке-то можно и забыть... И это тоже не сентиментальность, не экзальтированность, и вызывает не умиление, а понимание и согласие.

Не могу не сказать в этой связи и о том, что для меня, например, как-то особенно неотделимо от нравственного строя этой книги, неизменно сопрягается с ее образом. Я имею в виду то удивительно точное, нравственное безошибочное внутреннее отношение героя к самому главному и самому страшному на войне солдатскому делу — убивать, убивать и убивать, — отношение, которое нигде как будто даже не высказано, но именно разлито в повести, сквозит во всем человеческом облике Керженцева. Да, для Керженцева это — неукоснительный, требующий полной отдачи гражданский, патристический, а значит, и нравственный долг. И он выполняет его до конца, до последнего предела солдатских сил и умения.

Но попробуйте хотя бы на одной странице повести, хотя бы в одной детали, рассказывающей о том, как выполняет Керженцев

этот свой долг, найти малейший оттенок какой-либо взвинченности, азарта — проявление тех биологических инстинктов, которые порой служат на войне своего рода психологическим наркотиком и вносят в это необходимое, самое главное на войне солдатское дело элемент охоты или даже спорта... Тут действует в Керженцеве иной, человеческий, инстинкт — тот безошибочный нравственный инстинкт, который знает, что только в способности понять неизбежность и даже необходимость для солдата этих непримиримых внутренних противоречий, только в решимости преодолеть законное сопротивление своей человеческой природы убийству одним лишь сознанием и чувством долга — единственная возможность для человека не покалечить непоправимо свою душу.

И эта нравственная чуткость Керженцева проявляется и в том, как редко и как сдержанно, одним-двумя словами, рассказывает он об этих нередких в его жизни минутах — когда он целится, заманивается штыком, убивает... Опять-таки что-то в нем знает, чувствует, что иные вещи человек обязан делать, но не должен выставлять их наружу, живописать их; обязан нести их в себе, один... Все это очень важно, о многом говорит и многое объясняет в Керженцеве.

Но, может быть, все-таки больше всего говорит о нем и привлекает к нему живой, постоянный доброжелательный интерес его к людям, всегдашняя потребность вглядываться в других, искать и открывать в них что-то хорошее и доброе. К этому привыкаешь с первых страниц книги и потом даже как бы и не замечаешь, словно бы нет здесь ничего примечательного, так оно и положено. Но, ведь на минуту вдумается только,—как часто встречаешь в этой книге привлекательные, добрые человеческие лица, как удивительно много в ней хороших, по-настоящему хороших людей! И любознательный, простодушный Седых, «молодые мышцы» которого «рвутся в бой», и замкнутый, странноватый Фарбер, и Максимов, задумчиво рисующий женскую головку на полях приказа, и любимец солдат Сенечка Лозовой, и Карнаухов, и Георгий Акимович, и Бородин, и Лисагор, и Ширяев, не говоря уж о Валеге, который всегда рядом с Керженцевым, или об Игоре и Чумаке. Всех их надо было увидеть, в каждом из них Керженцев умеет разглядеть что-то притягательное и притом свое, особенное, неповторимое.

Не оттого ли и остаются они в нашей памяти как живые, и лишь потом, перечитывая книгу, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что тот же Чумак или Георгий Акимович, Ширяев или Седых очерчены в книге, оказывается, всего лишь несколькими абзацами? А мы еще говорим, что положительных героев писать труднее и удаются они писателям реже... Кому как, и смотря какие «положительные»...

Все эти черты человеческого облика Керженцева выдерживают суд по самому строгому, самому безотносительному счету. Но, может быть, особенно благодарно откликаешься на них именно потому, что хорошо знаешь, как это непросто — сохранить такую вот человеческую нормальность в таких ненормальных, трагических для человека условиях.

Да, война многому научила Керженцева. Но она не искалечила его душу. Напротив, она вызвала в ней, наперекор всему жестокому и антигуманному, какую-то особую открытость добру, человечности. И это определило собою весь строй повести, наполнило ее светом и воздухом. Одна из самых честных, беспощадно правдивых книг о войне стала в то же самое время и одной из самых светлых, лиричных и гуманных книг в нашей литературе. Она вошла в нее как книга о красоте человеческой духовности, о непреходящей, в любых условиях, в том числе и на войне, неизменной ценности всего, что есть в человеке человеческого. В этом — нравственное значение повести, залог ее живой жизни на долгие и долгие времена.

«...Эта книга была для меня откровением, — писал Ю. Бондарев в статье, посвященной пятидесятилетию В. Некрасова. — Из всех книг о войне — и наших, и западных, которые приходилось мне читать, — я не встречал похожей на «В окопах Сталинграда» по своему чистому светло-грустному тону. Это так, и этому нужно отдать должное, не задевая ничьих самолюбий».

Это должное мы должны отдать, и говоря о воздействии повести на нашу литературу, несомненно сильным и благотворном. Это тоже так, и об этом тоже нужно сказать, не задевая ничьих самолюбий. Это подтверждает, в частности, и творчество самого Ю. Бондарева, его военные повести. И первая — «Батальоны про-

сят огня», принесшая ему известность, и вторая — «Последние залпы», представленная в этой книге.

Ю. Бондарев не повторяет В. Некрасова. Его творческая самостоятельность, писательское своеобразие не нуждаются в рекомендациях, и читатель этой книги, где «Последние залпы» непосредственно соседствуют с повестью В. Некрасова, имеет особый случай отметить, насколько разнятся друг от друга эти книги.

Изобразительное пространство повести В. Некрасова свободно и просторно: она объемна во времени и достаточно многомерна в захвате самых различных сторон войны, — собственно батальные сцены вовсе не занимают в ней какого-либо особо большого места.

В повести Ю. Бондарева, напротив, действие сжато до нескольких особенно напряженных, трагических дней; сцены, разыгрывающиеся на позициях батареи капитана Новикова, которая вступает в жестокую схватку с танками врага, идущими на прорыв в Чехословакию, следуют одна за другой, наполняют повесть грохотом разрывов, вспышками слепящего пламени, становятся ее непрерывным фоном.

У В. Некрасова — свободное, по законам дневниковой хроники, чередование эпизодов, картин, портретов; сюжет, в его привычном понимании, отсутствует; нет и персонажей, участвующих в каком-то едином, сквозном действии.

Ю. Бондарев, напротив, строит свою хронику нескольких дней на достаточно прочной и замкнутой сюжетной основе, где особую роль играет история отношений Новикова и Лены, проходящая стержневой сюжетной линией через всю повесть.

Книга В. Некрасова многозначна, полифонична и в своем духовном содержании, и это внутреннее ее содержание выявлено не каким-то особым прочерчиванием, но растворено в ней, возникает из всего живого ее наполнения.

Повесть Ю. Бондарева напоминает скорее страстный монолог, пронизанный одним чувством, одной темой. И это чувство, эта тема более резко и отчетливо выявлены: уверенно ведя читателя через энергичное развертывание сюжета и характеров, Ю. Бондарев явно высвечивает ту главную мысль, которая дорога и важна ему.

И все-таки просто невозможно говорить о Ю. Бондареве, не

вспоминая В. Некрасова. При всей безусловной творческой самостоятельности он многим обязан ему, и «Последние залпы», так очевидно отличающиеся от повести В. Некрасова, кровно близки ей в самой главной, глубинной своей сущности.

Ю. Бондарев так же дорожит непосредственной достоверностью наблюдений, его отличает та же пристальность к деталям, подробностям солдатского быта, то же стремление к предельной доподлинности каждого штриха, интонации, жеста, та же честность и смелость в изображении страшного лика войны. И та же точка обзора, то же явное предпочтение НП простого артиллерийского офицера, чтобы видеть в непосредственной и открытой близости тех, кто несет на войне ее главную тяжесть. Наконец, и само внимание Ю. Бондарева к своеобразной душевной коллизии, которая определяет характер его главного героя и в изображении которой — его собственное писательское открытие, тоже рождено пристальным интересом писателя к тем же, что и у В. Некрасова, духовным проблемам, к нравственной теме, которая является одной из ведущих и в «В окопах Сталинграда».

Действительно — в чем состоит эта душевная коллизия, занимающая Ю. Бондарева в характере капитана Новикова, его главного героя?

Вспомним, каким предстает поначалу перед нами этот молодой, в сущности совсем еще юный артиллерийский офицер — уже, несмотря на свою молодость, капитан, самый молодой капитан в своем полку. В нем сразу же обращает на себя внимание какая-то совсем не юная серьезность, почти демонстративная отрешенность от всего, что не имеет отношения к долгу, к ответственности, к делу, которое он делает на войне. Недаром майор Гулько, немолодой, умудренный жизнью человек, которому хочется понять этого не слишком разговорчивого юношу, однажды с искренним удивлением спрашивает: «Слушайте, Новиков.. Вообще, сколько вам лет?...»

Новиков — образцовый офицер, и солдаты любят и по-настоящему верят ему. Он справедлив, заботлив, тяжело переживает гибель людей — когда при взятии Касно батарея его впервые теряет девять человек сразу, он долго не может простить себе этого. Он знает, что часто недобр с солдатами, но и это тоже вызывает

в нем недовольство собой, чувство вины. Однако и это чувство неотделимо в нем от чувства долга; он судит себя как бы прежде всего с точки зрения тех велений, которые предписывает ему его офицерская ответственность за других. И когда в раздражении он грубо обижает солдат, Лену, собравшихся в землянке у Овчинникова отпраздновать день рождения хозяина, мысль об этом потому в особенности и угнетает его, что он сорвался как раз тогда, «когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек...»

Действительно, он жестковат, сдержан в общении, редко бывает весел, а когда бывает, — это настораживает, ибо солдаты знают, что странная спокойная веселость капитана Новикова — первый и верный признак надвигающегося боя. Всякая размягченность, все, что не согласуется с его представлениями о том, каким должен быть человек на войне, вызывает в нем по большей части раздражение; он подчеркнуто сух и официален с майором Гулько, не скрывает презрения к его «домашним» привычкам, к «женственно опрятной обстановке», которую тот создает около себя и которая кажется Новикову неуместным чудачеством; отеческое, ласковое «мой мальчик», с которым Гулько порой обращается к нему, рождает в нем лишь досаду и злость. Он полон недоверия и подозрительности к Лене, и лишь потому, что его тянет к ней, а Новиков зол на себя за это и стремится подавить в себе это чувство, он старается думать о ней плохо, нарочно возбуждает в себе неприязнь к ее смеху, в котором ему чудится что-то тайно порочное, к ее кажущейся доступности, развращенности мужским вниманием...

Все эти черты Новикова поначалу действительно несколько настораживают. Что это — внутренняя черствость, органический недостаток человечности? Или, может быть, просто не слишком умная молодость, которая так заботится порой выглядеть взрослой и со всей категоричностью и гиперболизмом юности играет понравившуюся ей роль?

Приоткрывая перед нами шаг за шагом душевный мир своего героя, Ю. Бондарев очень скоро заставляет нас убедиться в том, насколько все здесь сложнее и серьезнее. И мы видим, что да — это молодость. Но не та, что примеряет на себя взрослость от избытка нерастратченной силы или по зеленой наивности. Новикову — не до

игры, и суровость его — не маска, а уже невытравимая природа, не удовольствие, но тяжкое бремя. Дело тут и не в черствости, не во внутреннем строе души, страдающей каким-то природным изъяном. Всматриваясь в душевный облик этого полумальчика-полувзрослого, мы воочию убеждаемся, сколько чистоты, совестливости, нерастраченной отзывчивости и внимания к людям в этом не по годам серьезном человеке, как искренне завидует он звонкоголосому, по-детски влюбленному в него молоденькому лейтенанту Алешину, живущему сердцем. И жалость, и доброта к людям — все это есть в этой живой человеческой душе, и всякий раз, когда нужно подавить в себе ее непосредственное движение, для него—это тяжесть и боль, и вовсе не один только голос долга звучит в нем, когда он судит себя за то, что недостаточно добр с солдатами... Но вместе с тем мы видим, как много иного заставила его понять война, как многому научила она этого юношу, за плечами которого, «где-то там, в бездне лет», один курс горного института, книги, настольная лампа — прошлое, которое «можно уложить в одну строчку», а в настоящем — «одни подбитые танки», «не уложишь в страницу»...

Война заставила его узнать, что ласковые, обнадеживающие слова, которые шепчут медсестры умирающим, не облегчают, а обостряют последние муки. Она научила его видеть в жизни человека только «тогда большую ценность, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала». Она заставила его понять, что «не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости», и научила его подавлять в себе эту жалость. Она научила его тысяче других, простых и жестоких вещей, от которых он не имел права уйти, закрыть на них глаза, будучи поставлен отвечать за людей. Она заставила его признать истину, которая неотвратимо напоминает о себе всякий раз, как только он остается лицом к лицу со своим правом и обязанностью распоряжаться жизнью других — и тогда, когда он видит, как немцы пытаются взять Овчинникова живым, и, ужасаясь себе, нажимает на спусковой крючок пулемета; и когда его, склонившегося над убитым Колокольчиковым, настигает обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, не послал этого молоденького связиста по линии, он бы не погиб.

«Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он лю-

дей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро, в чистом виде? Где?.. Его не было на войне, он его не видел».

Так возникает в повести мысль, которая, как видим, и в самом деле явственно перекликается с одной из ведущих тем книги В. Некрасова. И эта мысль о добре, неотделимом на войне от зла, не случайно так настойчиво повторяется в «Последних залпах». Вспомним, как после разговора с Гулько — все на ту же тему о добре, — Новиков размышляет, сравнивая себя с Алешиным:

«В отличие от меня, он понимает добро только в чистом виде... Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких людей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе...»

Именно в этой непростой истине, признаваемой Новиковым, — ключ к тем особенностям его человеческого облика, о которых шла речь выше. Ибо истину эту он должен не только понять, но и принять, сжиться с нею, подчинить ей себя, как-то согласить с нею свою человеческую природу, восстающую против необходимости мирить добро со злом, делить их на большее и меньшее, когда дело касается человеческой жизни. Что же удивительного, что, принимая эту необходимость, психологически приноравливаясь к ней, он инстинктивно вырабатывает в себе привычку и вообще, всегда и во всем, не поддаваться непосредственным движениям сердца, держать их в себе, не давать им воли? Не забудем, что ведь он еще очень молод, этот человек, и душа его еще совсем по-юношески, особенно совестливо и остро чутка к страданию, чтобы оказаться способной совместить в себе всю открытость непосредственным движениям сердца, когда они возможны и допустимы, и в то же самое время — нелегкое уменье с болью глушить их в себе, когда это нужно, когда этого требует долг. Слишком трудно дается ему это умение, слишком многого требует оно от него, чтобы не подчинить себе все остальное, не настроить все струны души к постоянной готовности исполнять это главное для него на войне офицерское дело — распорядиться жизнью и судьбою других.

Вот откуда у Новикова и эта всегдашняя суровость и даже резкость в общении, и эта постоянная инстинктивная настороженность, а порой и враждебность ко всему, что размягчает душу, вводит ее в круг тех движений, которые так нелегко подавлять в себе в грозные минуты боя и ответственности. Все в нем натянуто как струна, и именно в этом постоянном натяжении — тот способ внутренней психологической «мобилизации», который инстинктивно находит для себя Новиков и который помогает ему сражаться, отвечать за людей, принимать решения на жизнь и на смерть.

Обращая внимание читателя на эту душевную коллизию, выявляемую Ю. Бондаревым в характере его героя, я вовсе не хочу сказать, что именно в этом и состоит главная задача писателя, что именно с этой точки зрения прежде всего и интересен и важен ему образ капитана Новикова. Ю. Бондарев отнюдь не гипертрофирует эту проблему. И тем более тут нет и не может быть ни малейшего оттенка пацифизма — психологин, глубоко чуждой и автору, и его герою. При всей сложности своего внутреннего мира Новиков — человек глубоко цельный, и как психологически ни драматично для него столкновение с неизбежной жестокостью войны, это вовсе еще не означает какого-то душевного надлома, не имеет ничего общего с какой-либо душевной катастрофой, с распадом личности на некие катастрофически несовместимые нравственные начала. Для Новикова защита Родины, участие в войне против фашизма — не просто долг, гражданская обязанность, но и глубокая нравственная потребность его собственного человеческого «я» — то, что неотделимо от самого дорогого и важного для него в жизни, без чего он не мог бы чувствовать себя человеком. Не будь этой высшей нравственной опоры, этой властной внутренней потребности вместе с миллионами других людей сражаться за избавление Родины и всего человечества от фашистской чумы, необходимость не только рисковать своей собственной жизнью, но и распоряжаться жизнью и судьбой других действительно могла бы сломить, уничтожить его как человека. Но в любую, самую трудную минуту ответственности Новиков знает: «он распоряжается их жизнью и судьбой во имя чего-то неизмеримо огромного, того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним».

И это — главное в образе Новикова, образе подлинно героическом. Именно этим прежде всего дорог Новиков Ю. Бондареву, и именно поэтому таким непрерывным потоком и разворачивает перед нами писатель картины и эпизоды, где мы видим его героя в грохоте разрывов, в свисте пуль, у прицела пулемета, в отчаянном прорыве к окруженным орудиям Овчинникова, на позициях батарей, ведущей смертельную дуэль с танками врага, — сцены, рисующие беспредельное мужество Новикова, его безоглядную готовность до конца выполнить свой гражданский, воинский и нравственный долг. Образом своего героя Ю. Бондарев славит красоту человеческой самоотверженности и жертвенности во имя утверждения на земле справедливости, во имя высших гуманистических идеалов человечества.

Но как это важно, что, славя героизм и мужество человека, защищающего Родину, Ю. Бондарев не впадает в идеализацию, выпренность и сохраняет всю трезвость реалиста, всю зоркость художника, умеющего видеть жизнь в ее реальной сложности! Как это хорошо, что он не принадлежит к тем прямолинейным схематизаторам, для которых факт высшей нравственной оправданности антифашистской войны — со всей ее неизбежной жестокостью — вообще освобождает от необходимости видеть какие-либо иные нравственные проблемы, встающие на войне перед человеком... Никакая самоотверженность в исполнении воинского долга не оправдывает и не может оправдать для Ю. Бондарева душевного омертвения, неспособности остро чувствовать весь человеческий драматизм этой тяжелой обязанности распоряжаться жизнью других, тебе подобных. И он не боится напомнить, как это непросто живой человеческой душе выдерживать день за днем такое вот столкновение между естественным чувством жалости, сострадания, невозможности посылать людей на гибель и необходимостью делать это — какой бы высшей целью и ни была оправдана эта необходимость.

И в этом — тоже значение образа Новикова, его жизненная правда и глубина. Ибо именно об этом и говорит нам Ю. Бондарев, показывая, в какой нелегкой психологической «реорганизации» своего внутреннего мира, своего характера находит для себя Новиков

тот выход, который помогает ему надежнее нести бремя своей офицерской ответственности за других.

Вполне ли верен этот выход? Не вправе ли мы требовать от Новикова большего?

Ю. Бондарев не ставит и не может ставить вопроса так. Это было бы не просто ригоризмом, но и кощунством над человеком, который жизнь свою отдал за то, чтобы другие смогли жить так, как не удалось ему, а мы, через десятки лет, имели бы возможность вот так задуматься над нравственным уроком, заключенным в его судьбе...

Но применительно к Новикову такая постановка вопроса глубоко ложна и в самом своем существе. Не потому, что нет других исходов, не бывает людей, несущих тот же крест ответственности, но при этом все-таки более открытых, обаятельных, душевно щедрых в человеческом общении. Пример тому — тот же некрасовский Керженцев, в котором столкновение с жестоким законом войны ведет лишь к тем большему противопоставлению этой жестокости, наперекор ей, всей той доброты, отзывчивости, всех тех способностей к дружбе, товариществу, братству, всего того внимания к доброму в людях и в жизни, на какие только способна человеческая душа.

Но судьбы людей, их душевный облик складываются не по одной мерке. У каждого — свой, индивидуальный путь, и он в огромной степени зависит от того, что заложено в нас опытом, возрастом, самой природной основой нашего характера. И все эти пути, все эти судьбы прекрасны, все они, какое бы предпочтение ни отдавали мы тому или иному человеческому характеру, равно заслуживают нашей нравственной признательности, если только они движимы добром, несут в себе добро и служат ему.

Нам не в чем упрекнуть Новикова по этому самому главному счету, Новикова, который с таким мужеством и героизмом исполняет свой главный солдатский долг защитника Родины. Да, в своих повседневных проявлениях, в общении с людьми он был таким, каким он был, — это сделала с ним война. Но все эти три года войны «он думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим», хотя ему тоже, как Алешину, хотелось есть шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками.

«Но я не могу, не имею права...»

Ю. Бондарев сказал нам своим Новиковым высокую, суровую и честную правду о войне. Он создал полный мужественного обаяния героический образ человека, воинский подвиг которого даёт нам высокий нравственный пример служения долгу, силы человеческого духа, способного идти до конца в утверждении того, что дорого человеку, что он считает справедливым. И вместе с тем, не идеализируя и не смягчая непростой характер своего героя, не сглаживая его острых углов, он напомнил нам и о том, что все героическое, все подлинно высокое и прекрасное на войне неотделимо от трагического. Не только в том смысле, что утверждается ежедневно не одной жизнью, а и самой смертью, но и в том, что оплачивается сплошь и рядом высокой ценой трудновосполнимых потерь, жертвой многими, дорогими сердцу человеческими качествами, душевными способностями и движениями. И тем самым, вслед за В. Некрасовым, он еще и еще раз заставил нас почувствовать и понять, как это важно для человека сохранить в себе потребность в том «чистом добре», о котором мечтает Новиков, как необходимо для него это, чтобы остаться человеком и тогда, когда он принимает на себя права и обязанности, диктуемые высшим гражданским, патриотическим и нравственным долгом и требующие преодолевать это естественное и законное стремление человеческой природы.

Вот почему такой щемящей нотой и отзывается в нас запоздалое счастье Новикова, это прорвавшееся в нем и одарившее его ответной любовью чувство к Лене; вот почему мы благодарно чувствуем внутреннюю необходимость и справедливость этого прощального дара судьбы — дара, который заслужила эта душа не только своей мужественной готовностью отдать себя до конца главному на войне — исполнению воинского долга, но и своей способностью остро страдать от невозможности на войне «чистого добра», своей убежденностью в его необходимости, своей верой в то, что оно обязательно восторжествует, будет главным законом человека в той жизни, за которую он, Новиков, сражается.

«Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь призрачные липы недалекие орудия: там оставались солдаты, мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала

его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно-понимающие взгляды, услышал голос Ремешкова: «Выздоровливайте, сестренка, мы вас очень уважали», — и Порохонько добавил: «Живы будем — побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, даже Порохонько. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывает в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, которых он любил... И порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни, — чистая доброта, любовь, солнце, — он оставлял на после войны, на будущее, которое должно было быть»...

Среди книг, которыми может гордиться наша литература, особое и почетное место занимают те, которые страстно утверждают человечность как высшее и главное мерило жизни в любых, самых гяжких, какие только может вынести физически человек, обстоятельствах — в том числе и на войне.

Повести В. Некрасова и Ю. Бондарева стоят здесь рядом — и по праву кровного родства, и по общности нравственных целей.

И. ВИНОГРАДОВ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Виктор НЕКРАСОВ. В окопах Сталинграда	3
Часть первая	5
Часть вторая	113
Юрий БОНДАРЁВ. Последние залпы	299
Человек и война. <i>Послесловие</i> И. Виноградова	470

Виктор Платонович НЕКРАСОВ

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

Юрий Васильевич БОНДАРЁВ

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1968, 496 стр с илл.

Редактор приложений Л. Шиловцева

Редактор В. Полонская

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор Н. Карнаушкина

Корректоры И. Дворецкая, Н. Жаворонкова

Подписано в печать 28/X 1968 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. печ. № 1.
Печ. л. 15,5+0,25 печ. л. накидок. Усл. печ. л. 26,46. Уч.-изд. л. 26,52.
Заказ № 2424. Тираж 100 000 (1—40 000) экз.

Цена 1 руб. 11 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии изд-ва «Волжская коммуна»
Отпечатано в типографии изд-ва «Волжская коммуна», г. Куйбышев,
пр. Карла Маркса, 201.

Буль 55

1 — Johannet

7.85

получается Валеру 23

и спрашивает меня что-то 56

ну это было бы интересное прощ. в. мед. в.: стр. 206
(детка)

Игорев командира 48

"Знамя" стр. 59 : "Скажишь ему принести мешочек сруб"
→ принеси р. 80

Сталин убит со стороны 54
но ~~остались~~ остались на стр. 79 и 199 и 209
(134)

все там убитое 369 (Бонгарев)

— Человек пять хватит? 258

— Не знаю как стала, 281

